

Далия
Трускиновская



Деревянная
грамота

Государевы конюхи

Даля Трускиновская
Деревянная грамота

«Снежный Ком»

2001

Трускиновская Д. М.

Деревянная грамота / Д. М. Трускиновская — «Снежный Ком»,
2001 — (Государевы конюхи)

Москва, XVII век. На торгу обнаруживается тело замерзшего мальчика и при нем - загадочная деревянная книжица, написанная тайными знаками. И снова царским конюхам предстоит распутать опасное дело, в котором подозревают государственную измену.

Содержание

Часть первая	5
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Далия Трускиновская

Деревянная грамота

Другу Ратимиру посвящается

Часть первая

Масленица была уж не за горами!

Стенька неторопливо шел по торгу, по некрутому горбу Красной площади, от родного Земского приказа к Василию Блаженному, но не прямо, а углами, норовя пройти все торговые ряды. Вот уж где он чувствовал себя как дома! Ему нравился лихой, разухабистый шум, сплавленный из выкриков и прибауток торгового люда, из громкой, но беззлобной ругани покупателей, из всяких стуков и скрипов, и этот шум был такой пестроты, что в ушах звенело.

А лица! Из-под надвинутых на брови меховых шапок и шапочек, со сверкающими глазами, с пылающими щеками, с веселыми громогласными ртами! Вот где восторгу-то – идти сквозь такую толпу, ловя взгляды молодых баб, приветствуя знакомых мужиков, наслаждаясь этим суматошным миром, без вина пьянящим, и за такое блаженство еще и денежки получать!..

Земский ярыжка Аксентьев шел по торгу хозяином. Все видели его толстую дубинку. Огреет вора – долго вор помнить будет. Все слышали его звонкий голос. Особенно женкам и девкам сладко было оглянуться на статного молодца...

Опытным ухом Стенька уловил шум драки и поспешил, распахивая толпу, прекращать безобразия.

– А ну, наддай! А ну, еще! – подзуживали зрители, которых для такого случая всегда набиралось довольно. – Ого, дядя! Здоров! Ты к Масленице подкормись-то! На Москве-реке биться будешь!

Стенька несильно двинул крикуна положенной по чину дубинкой, сшиб в сторону и занял его место.

На пяточке меж рундуками два мужика как могли отчаянно тузили друг друга, но толстые тулупы сковывали движения, гасили удары, и драка, начатая вполне достойно, обратилась в тупую возню. Это радовало зрителей почище представления скоморохов, и даже торговцы, прикрывавшие товар руками, искренне веселились.

– Стоять! – гаркнул Стенька, замахиваясь сразу на обоих дубинкой. – Р-р-разойдись, сволочи! Кто велел на торгу буяннить? Сейчас вон в приказ сведу!

– А сведи! – выкрикнул один из драчливых мужиков. – Только чтобы обоих! Пусть там разбираются – кто прав, кто виноват! Я батогов не боюсь!

– И я не боюсь! – встрял второй. – Веди нас в приказ! Уж я-то на него, на сучьего сына, челобитную подам!

– Это я на тебя подам! Государю в ноги брошусь!

И они опять полезли друг на дружку, оба здоровенные, в заиндеветших бородах одной длины, в похожих шапках – как есть близнецы!

– Тихо вы, тихо! Не то стрелецкий караул позову – он вам бока-то обломает! Пошли в приказ!

С немалым трудом Стенька довел их – все порывались вступить в новый бой, ругаясь хотя и матерно, однако уныло. Стенька знал мастеров-матерщинников, которые не просто загибали, а складно и ладно, не хуже скоморохов, считавшихся знатоками этого дела. А ругань пойманных им мужиков была так же тупа и несурозна, как их драка.

В Земском приказе обоих поставили перед свободным на ту минуту подьячим Колесниковым.

– Кто таковы, сказывайте! – велел он, выложив перед собой чистый лист.

– Служилый человек Ивашка Шепоткин, – представился один.

– Торговый человек из Суздали Никишка Ревякин.

– Ну и какого же черта на торгу сцепились?

Сказал он это так, что драчуны ощутили себя малыми детишками, что досаждают взрослым нелепой возней и визгом.

– Мы по-честному, – буркнул Ивашка. – В бороду не вцеплялись, по срамному месту не били. Мы – на кулаках!

– Ах, вы, стало быть, кулачные бойцы? – с издевкой спросил Колесников. – Торг с Москвой-рекой спутали? Или в календаре заблудились? Масленица еще не настала!

– Да нет же! – прямо-таки застонал служилый человек Ивашка Шепоткин. – Меня, сироту, обидели!

И рухнул здоровенный сирота на колени, задрал при этом бороду и с нечеловеческой надеждой заглядывая в глаза Колесникову.

– Сказывай! – велел подьячий.

– Да этот сирота сам кого хошь обидит! – возмутился торговый человек из Суздали Никишка Ревякин и тут же схлопотал от Стеньки по шее.

– Не галдите вы там! – подал голос от своего края стола Деревнин. – Сказку отбирать мешаете!

Он вполголоса совещался с низко к нему нагнувшимся попом и время от времени что-то записывал.

– Вот этот стервец жену мою продал! – Ивашка снизу ткнул перстом в Никишку.

– Ну, сказывай, – Колесников изготвился писать.

– Поехал я по государеву делу в Касимов и чаял там пробыть с полгода, – не вдаваясь в подробности, доложил Ивашка. – А денег на дорогу не было, прожился, и там мне бы деньги понадобились. А он, страдник, вор, из Суздали своей приехал, а своего двора на Москве у него нет! И мы сговорились – я ему женишку свою, Марфицу, за пятнадцать рублей заложил!

– За пятнадцать рублей, – повторил подьячий, записывая. – Не продешевил?

Ивашка, которому было не до шуток, уставился на подьячего с глубоким непониманием.

– Ты сказывай, сказывай! – напомнил ему Стенька. – Мы тут с тобой до ночи возиться не станем.

– Женишку свою Марфицу заложил, и пятнадцать рублей с него получил, и в Касимов поехал, а он с Марфицей жить остался...

– Ты откуда такой вылез? – напустился на него Колесников. – Ты что, в церковь Божию не ходишь, проповедей не слушаешь? Сам патриарх учить изволил – нельзя, грешно жен закладывать, чтобы чужой человек с ними сожителство имел! Жену в блуд вводишь, дурак!

– Всегда так делалось! Я-то со двора поеду, а она-то одна останется, так хоть присмотрена да сыта будет! – возразил Ивашка. – И вот женишку свою Марфицу этому аспиду заложил, и пятнадцать рублей получил...

– Знаю, знаю. Когда приехал – что обнаружилось?

– А то и обнаружилось, что он ее другому человеку передал, как зовут – не ведаю, а прозвание ему – Пасынок! И она с тем Пасынком ныне живет!

– Ты кого, Степа, привел? – устало спросил Колесников. – Этих подлецов – не к нам! Их к патриарху на суд надобно! Пусть бы их в Соловки к святым отцам всех на покаяние отправил! На хлеб и воду! Вас, сучьих детей, для того венчают, чтобы вы женами торговали?

– Выслушай, батюшка! – Тут и торговый человек из Суздали, сучий сын Никишка Ревякин бухнулся на колени. – Он точно мне женишку свою на полгода заложил, да ведь вовремя

не выкупил! И я еще лишний месяц ее кормил-поил! А я для чего ее в заклад взял-то? На Москве я, сирота, человек чужой, своего двора не имею, покормить-обстирать меня некому...

– Гляди ты, сирота на сироте едет и сиротой погоняет, – заметил Колесников. – Стало быть, ту Марфицу вовремя не выкупили, и ты счел себя вправе ее переуступить?

– Хорошему человеку, богобоязненному!.. А тут этот аспид, скорпий бешеный, и вернись!

– Я – домой, а домишко-то мой заколочен стоит! Я – на торг, узнавать, тут мне на него и указали!

– А что же – двери нараспашку оставлять? Я своим двором разжился, Марфицу туда увел, а твой-то и запер!

– Благодетель! – отметил Колесников. – Степа, позови приставов. Пусть сходят к тому Пасынку, заберут от него бабу и вернут мужу. Со всех троих – по полтине в казну! Так и записываю – видели, блядины дети? И – все! А коли кто из них из всех о тех пятнадцати рублях заикнется – я ему покажу пятнадцать рублей! Живого места на нем не оставлю!

– Пошли! – Стенька разом потянул обоих сирот за ворота шуб. – Ваше дело решено. Кто таков тот Пасынок? Где проживает?

Оставляя вдвоем Ивашку с Никишкой нельзя было. Ивашку Стенька отправил вместе с двумя приставами – вызволять жену, а Никишку отпустил, лишь убедившись, что посланные уже довольно далеко отошли.

Никишка плакался – ведь Ивашка обещал по-честному у него жену выкупить, вот деньги и пропали! Да и Пасынок за возмещением убытка к нему, к Никишке, явится.

– Да сам же ты и взял с Пасынка деньги, когда бабу ему отдавал! – не выдержал вранья Стенька. – Ступай Христа ради, пока я тебя, вора, дубинкой не пришиб!

Потом Стенька, как ему полагалось по должности, вернулся обратно на торг. Время близилось к обеденному, но морозец раньше времени заронил в душу мечту о дымящемся горшке со щами. Стенька невольно облизнулся.

Хотелось пусть бы не щей, а горячего пирога, да не хотелось за него переплачивать. Стенька гордо прошел мимо деда с богатой торговлей – его пироги ехали перед ним на санях в большом укутанном коробе, и на крышке короба он производил расчет с покупателем. Стенька деда знал. Тот сам пек, сам и продавал, причем за полушку готов был удавиться.

Дед на Стеньку и не взглянул, а толкнул свои санки прямо под ноги пробивающейся через торг сочной бабе, ведущей за руку паренька.

– А вот пирогов, пирогов! – крикнул он прямо в лицо мальчишке.

Баба шарахнулась от него и потащила дитя прочь.

– Го-ордая! – послал дед в спину несговорчивой бабе острое словцо. – Как поклонится, так три фунта грязи отломится!

– Эй, стой! – Стенька ухватил за плечо парнишку с большим лукошком, подвешенным спереди. Лукошко было укрыто холстиной, из-под которой выходил пар.

– Пирогов с пшеном? С зайчатиной? – еще не по-привычному бойко, а с натужной бодростью спросил парнишка. – А то – с вязигой? Или кислых пряженных с маком?

– Ну тебя с пряженными! – возмутился Стенька. – Весь в масле извозишься, пока съешь! Ищи потом, где руки вытереть! Ты мне лучше с рыбой, коли есть.

– А как не быть!

Стенька мог бы и не заплатить, да пожалел парнишку. Тот, видать, был еще новенький, даже кричать не выучился, и за отданный безденежно пирог ему бы досталось от батьки, или от хозяина, или кто уж там послал его на торг.

– Ты втихомолку не распродашь, – сказал ему Стенька, отдавая деньги. – Ты зазывай. Слышишь, как все глотку дерут? «Эй, шевелись, подходи, не скупись!» Вот и ты тоже.

Парнишка улыбнулся благодарно.

Обзаведясь пирогом, Стенька пошел туда, где мог бы запить его сбитнем. И вскоре услышал разлюбезное, призывное:

– Вот сбитень горячий! Мед казанский, сбитенщик астраханский! Сам хохлится, сам шевелится, сам потрогивается!

Стенька пробился сквозь народ и оказался у лавки, на которую хозяин выставил кувшины и кружки.

– Эй, молодец, не пей пива кружку, выпей сбитня на полушку! – приветствовал его знакомый сбитенщик. – С нашего сбитню голова не болит, ума-разума не вредит!

– А налей! – позволил Стенька.

– А полушка?

– А кто тебе два кувшина спас?

Дело было давнее – не допустил земский ярыжка, чтобы у знакомого мошенника пустые кувшины уволок. И с того Стенька пробавлялся дармовым сбитнем почитай что третий годок. Правда, не злоупотреблял – не каждый день хаживал.

Он принял кружку с ароматным горячим напитком, отхлебнул – дыханье перехватило, столько сбитенщик грохнул туда перцу. Но и меду не пожалел, и корицы, и всего того, что давало сладость и приятный вкус.

– Дай Бог дальше не хуже, – с тем Стенька вернул пустую кружку и зашагал дальше, а вслед неслось разудалое:

– Кто наш сбитенек берет, тот здрав живет! Под горку идет, не спотыкается, на горку ползет, не поперхается!

Стенька и впрямь шел уже в гору...

– Что не заглядываешь, Степан Иваныч? – раздалось из шалаша.

Стенька повернулся на голос.

Из непривычно низкого окошка посреди небольшого бревенчатого сруба установленного образца – две с половиной сажени в длину да две сажени в ширину – смотрела веселая бородастая рожа сидельца.

– Милости прошу к нашему шалашу! – продолжал он.

– А чем угостишь? – Стенька подошел.

– А вот к постному дню! – предложил радушный сиделец. – Есть белорыбица, есть семга провесная, есть и спинки стерляжи! Осталось десять белуг самых лучших, непотрошенных, три десятка осетров, самых лучших! Стерляди мерзлые по аршину с четвертью! Три пуда семги соленой, икра зернистая пресная, опять же – самая добрая! Есть и залом!

Стенька едва не облизнулся. Если белорыбицу и стерлядь случалось есть, то про залом он только байки слышал. Сказывали – рыбина в аршин длиной, солоноватая, но на самом деле – холодного копчения, добывается в Астраханском море, и вкусу изумительного...

– Так угостишь, что ли?

– Хочешь – снетков в кулечек положу? Сухих, псковских, самых лучших?

Снетки – не семга провесная и не залом, грошова рыбешка, но Наталья уж найдет, на что употребить, подумал Стенька и протянул руку. Приятель-сиделец выдал совсем маленький кулек, на который пошел лист исписанной вкривь и вкось бумаги.

– Да похвали же хоть что-нибудь! – прошипел он.

– Ах, стерлядка! Ну, что за стерлядка! – на весь торг завопил Стенька. – Такую и к боярскому столу подать не стыдно!

– Семгу похвали... – подсказал сиделец.

– А вот, гляжу, семга у тебя! Был я недавно на крестинах у подьячего, богато подавали, а такой семги там не видывал! – громогласно продолжал Стенька, и тут на него вдруг накатило озорство. – Такая семга подьячему-то, поди, не по карману! А разве одному боярину Милославскому!

И отскочил от шалаша.

В толпе засмеялись. Государев тесть Милославский был на Москве одним из богатейших бояр.

Довольный, что и людей порадовал, и сам повеселился, Стенька направился было в дальнейший обход, но тут повалил снег. Да еще какой! Ни с того ни с сего словно ангелы преогромную перину ножичком распластали да и вывернули на Красную площадь.

В тех рядах, где бабы торговали рукодельем, послышался радостный визг – весело ругаясь и перекликаясь, торговки прибирали с лавок и с рундуков свое шитье. И если бы Стенька мог улыбнуться еще шире, он бы непременно постарался. Однако шире просто уж было невозможно.

И тут стряслось-таки неладное.

Стенька не мог бы объяснить внятно, что такое он услышал, что разобрал в общем галдеже. Однако вошла в душу тревога – не так звучали невнятные голоса, ох, не так! Он развернулся и поспешил к краю площади – туда, где стояли распряженные сани, укрытые рогожами, туда, где тяжеломерно суетились, склонившись над передком одних саней, люди.

– Расступись! – гаркнул Стенька. – Что за шум? О чем лай?!

Как раз перед ним было необъятной ширины гузно. Мужик в синей, колом стоящей шубе нагнулся, вытаскивая что-то из саней, и больше всего был похож на широкий стол в приказе – тот, правда, не синим, а зеленым суконцем обычно покрывали.

Наконец он распрямился и повернулся к Стеньке.

На руках у мужика был ребенок, парнишка лет десяти, с таким белым личиком, какого у живых не бывает...

Парнишечка сжался каменным комком. Замерз он, видать, ночью – отогреть бесполезно, на ресницах – иней, вокруг ноздрей и рта – маленькие сосульки. Смотреть на него было невозможно – жалость прошибала.

– Где ты его взял? – с ходу напустился на мужика Стенька.

– Да рогожу откинул, войлок приподнял...

– А он-то и там! – добавила баба в рогатой кике и закивала мелко-мелко – видать, от страха.

– Господи, спаси и сохрани! – воскликнула другая, крестясь. – Вот страсти-то! Дитя в санях замерзло!

– Товаришко припрятать от снега хотел, а он-то и там...

– Чей парнишка – не знаешь? – спросил для порядка Стенька.

– Отродясь не видывал!

Случившийся тут же инок неведомой обители пробился ближе и протянул к парнишке руки.

– Может, и не помер еще? – с отчаянной надеждой в светлых глазах спросил инок. – Может, с Божьей помощью, и ототрем? Раздеть его надо, ощупать! Вы куда, бабы? Помогите же, Христа ради!

Но обе женки откачнулись от мертвого тела.

– Вот дуры! – прикрикнул на них Стенька. – Креста на вас нет!

Но, вдруг поверив иноку, сам проникся надеждой и стал как мог быстро расстегивать шубенку.

Из-за пазухи выпали и ударили его по ноге какие-то дощечки.

Инок нагнулся, поднял – и толкнул Стеньку в бок.

– Слышь-ка... Это в приказ снести надобно...

Стенька прижимал ухо к груди ребенка, все больше и больше убеждаясь, что помощи не требуется никакой. Он кинул взгляд на дощечки, вовсе не желая их разглядывать, а чтобы с

полным основанием послать навязчивого инока туда, куда в таких случаях всякому русскому человеку посылать навечно.

И увидел буквы...

Дошечек было несколько, широких и плоских, тоньшины такой, что даже непонятно делалось, как их только вырезали. Сшитые ремешком, они представляли собой что-то вроде книжки.

– Что за притча! – изумился он.

Инок же раскрыл деревянную книжицу, свел негустые бровки, пытаясь прочитать первую строку – да и поднял на Стеньку светло-голубые удивленные глаза:

– Не по-нашему писано-то...

– Со мной пойдешь, донесешь до приказа, – велел Стенька мужику, что обнаружил в санях замерзшего парнишку. – Сказку от тебя отберем – кто таков, как к тебе в розвальни мертвое дитя попало...

– Да я откуда знаю! – воскликнул в отчаянии мужик. – Вчера еще ничего там не было! Он не иначе как ночью туда забрался!

– С чего бы ночью туда забираться? – спросил Стенька и наконец-то соблаговолил приглядеться к буквам.

– Как это не по-нашему? Вот же тебе...

И замолчал.

Он хотел назвать знакомую, хотя и странно выписанную, словно коротким лезвийцем вырубленную черную букву положенным ей именем, но вдруг понял, что и «глаголь» не туда нацелен клювиком, и «живете» – странного вида, а прочие знаки вообще ни в одной прописи не встретишь... И более того – строки лежали не поперек деревянных страниц, а вдоль их, так что и держать диковинную книжицу следовало необычным образом.

– Говорят тебе, тащи в приказ! – велел инок.

– Да ты кто таков!.. – начал было Стенька, но инок, видать, человек опытный, сунул ему в руки находку и, не говоря ни слова, нырнул в толпу. Оно и верно – кому охота с Земским приказом связываться?...

– Пошли, что ли? – И Стенька, раздвигая скопившуюся толпу, пошел к приказу, а мужик с парнишкой – за ним.

Земский приказ имел особую избу со двором, где выставлялись для опознания поднятые на улицах мертвые тела. Туда-то и хотел доставить Стенька мертвого парнишку. Наверняка ведь родные ищут! Парнишка с виду не сирота – шубенка крепкая, сапоги хоть и великоваты на вид, но справные, не лапти с онучами! Что же тот парнишка ночью на торгу в санях-то искал? В пустых распряженных санях?...

Или кто его туда уже мертвого сунул?...

При мысли, что нашелся на Москве аспид, убил ребенка и спрятал труп, Стеньку передернуло. И тут же он сам себе возразил – в сани-то зачем? Ночью снег шел – подкопай сугроб, как все делают, да и сунь, да и завали снежными комьями, да еще сверху присыплет, оно и незаметно выйдет! После Пасхи лишь и обнаружится... Так нет же – в сани!..

Деревнин встретил их на крыльце. Он явно собрался уходить – коли бы в Кремль побежал, так выскочил бы без шубы, в одном подбитом заячьим мехом длинном кафтане.

– Чем разжился, Степа? – благодушно обратился он.

– Вот, мертвое тело в санях нашлось, сказку отобрать надобно.

– У тебя, что ли? – спросил подьячий мужика. – Ну-ка, покажи...

Он поглядел в неживое лицо парнишки и громко, горестно вздохнул.

– Царствие небесное! Какая же это дурища-бабища дитя на ночь глядя в дом не загнала?

...

– Вот и я толкую – не сирота! – добавил Стенька, хотя ни слова еще сказать не успел.

Мужика препроводили в избу, что жалась к самой кремлевской стене, и там лишь избавили от тела. Парнишка был помещен на соломе, между молодой еще женкой с разбитой в кровь головой и старым, раздетым до исподнего человеком. Судя по тому, что уши у несчастной женки были разорваны, а на руках недоставало пальцев, погибла она из-за украшений – кто-то, видя, как впотьмах возвращается домой, позарился на сережки с перстеньками. Старый же человек мог попросту пропитаться в кружечном дворе до нательного креста и замерзнуть по дороге домой исключительно через свою глупость.

Велев смотрителю раздеть тело и убедиться, что парнишка доподлинно замерз, а не погублен рукой человеческой, Стенька с Деревниным поволокли очумевшего от неприятности мужика в приказ – отбирать сказку.

С шумным вздохом Деревнин скинул Стеньке на руки шубу, сел, достал из перницы упрянтанное было перо и снял со стопки чистый бумажный лист.

– Ну, сказывай!

Мужик клялся и божился, что среди его знакомых и родни таких парнишек не видано, и для чего бы горемыке забираться в сани – ему неизвестно, а сам он – Васька Похлебкин из Ростокина.

– Знаю я вас, ростокинских воров... – проворчал Деревнин, и тут Стенька выложил на стол деревянную книжицу.

– Ты, Гаврила Михайлович, про это расспроси, – посоветовал негромко.

– А это что за диковина?

– А на мертвом теле найдена, за пазухой.

Деревнин повертел книжицу, попытался одолеть хоть строку – и не смог. Странная грамота пошла по рукам, приказные вертели ее так и сяк, толку же не было никакого.

– Может, письмо затейного склада? – предположил самый юный из подьячих Земского приказа, Аникей Давыдов.

О том, что государь Алексей Михайлович в последнее время сильно увлекался такими делами, подьячие слыхивали, а те, что постарше, могли бы рассказать, что закрытым письмом писались донесения еще покойному государю Михаилу Федоровичу. Сама мысль, что кто-то на Москве такими вещами балуется, была малоприятна...

Деревнин забрал деревянную грамоту, в последний раз попытался одолеть хоть слово – да и махнул рукой.

– Коли закрытое письмо, то какого же черта на дереве писано? – спросил сам себя. – Ничего попроще не нашлось? Бумага, что ли, вздорожала?

– А книжица-то старая, – заметил Колесников. – Совсем ветхая.

– Что же с ней парнишка-то делал? Кому нес? – разумно спросил самый старый и дородный из подьячих Земского приказа, осанистее и бородачее иного боярина, Семен Алексеевич Протасьев.

Ответом было всеобщее хмыканье и пожимание плеч.

– А может, у кого унес? – иначе повернул дело Колесников. – У кого на Москве такие книжицы водиться могут?

– А ведь придется разбираться... – продолжал Протасьев. – Ты, Степа, чай, когда книжицу отыскал, ее не припрятал сразу же, а народишку дал разглядеть. То-то теперь на торгу галдят про замерзшего парнишечку и деревянную грамоту! Вперед, пожалуй, будь поумнее...

– Этого учить – что в ступе воду толочь, – памятуя о прошлых подвигах своего подначального, буркнул Деревнин. – Ладно, братцы, видно, такова моя горькая долюшка. Коли подумать, то книжица это опасная. Кому на ум придет по дереву закрытым письмом писать? Богоотступникам разве...

– Полагаешь в Чудов монастырь снести, пусть святые отцы разберутся? – спросил Колесников. – Ну и пропадет там деревянная грамота! Не вернут святые отцы и не глядя скажут,

что книжица еретическая! И шуму раздуют – мы, мол, самому черту соли на хвост насыпать горазды! Им же перед патриархом выслужиться охота. А для него твоя, Гаврила Михайлович, грамота – подарок! Тут-то он и возопит, что совсем народишко обезумел, по дощечкам Богу молится, последнее время богослужebные книги исправлять да новые заводить!

Стенька слушал рассуждения, затаившись и вытянув шею, чтобы ни единого словечка не пропало. Васька же Похлебкин даже не слушал, а мрачно смотрел в пол, потому что – как ни рассуждай подьячие, а тело-то у него, у Васьки, в саях найдено, ему и отвечать...

Деревнин хмыкнул, насупился, поглядел на разложенные дощечки, а когда поднял глаза, так уж вышло, поймал Стенькин взгляд. Взгляд молил: ну, сделай же, батюшка Гаврила Михайлович, хоть что-нибудь!..

– Собирайся, пойдём! – вдруг решил Деревнин. – Есть на Москве один человек, который в этой деревянной грамоте, может, и разберется. Я даже не удивлюсь, коли у него ее и стянули...

– А кто таков? – спросил Емельян Колесников.

– А справщик Арсений Грек, что в печатне на Никольской обретаeтся.

– Еретик! – грозно возгласил подьячий Протасьев. – За что его на Соловки сослали, а? То-то – за ересь!

– И верно, Гаврила Михайлович, – поддержал товарища Колесников. – Человек он подозрительный, у латинских попов учился и в латинской вере был, потом к туркам подался и турецкую веру принял, это на Москве всем ведомо! Мало ли греческой шелупони за патриархом иерусалимским в Москву притащилось! Хорошо хоть, не все осели, иные и прочь убралась!

– А потом что было-то? – спросил Деревнин. – Арсений сюда уж лет десять как перебрался. Ну, побывал он в Соловках – да сам же владыка Никон его оттуда и изъял! Справщиком не каких-либо, а богослужebных книг поставил! Он, Арсений, много повидал, уж ежели он не растолкует, что это за грамота, то и никто на Москве не растолкует.

Стенька уже был в тулупе и держал наготове деревнинскую шубу с преогромным бобровым воротником. Подьячий, не вдаваясь в дальнейшие рассуждения, сунул руки в рукава и, провожаемый неодобрительными вздохами, покашливаниями и покрываниями, пошел к дверям, Стенька, сунув за пазуху деревянную грамоту, поспешил следом.

– А я как же? – спросил Похлебкин.

– Сиди в углу да жди.

– Постой, Гаврила Михайлович! – вспомнил вдруг Колесников. – Третьего дня ты писцам сказки перебелять давал?

– Давал, а что такое?

– Вот, взгляни...

Чтобы не париться, Стенька вышел на крыльцо. У Земского приказа, как всегда, толпился народ. Очередь бурлила, переругивалась, мужики пихались, и кто-то, шлепнувшись на гузно, поехал сидя по накатанной ледяной дорожке. Стенька спустился, обошел дорожку и встал в сторонке, ожидая Деревнина.

Рядом оказался высокий, статный мужик средних лет, в остроконечном меховом колпаке, надвинутом чуть ли не ниже бровей.

– Надо бы песку принести, посыпать, – сказал он. – Еще, чего доброго, кто шею ломает.

– Вот бы и принес, – буркнул Стенька, сгорая от нетерпения.

Деревнин, разбирая огрехи писцов, мог застрять надолго.

– А и принес бы, я знаю, где песка взять, – добродушно отвечал мужик. – Тяжко вам, приказным, приходится. И так за день набегаешься, а тут еще под самым крыльцом такой подарок!

Мужик оказался понимающий!

– Уж точно, – довольный, что собеседник поможет скоротать время, отвечал Стенька.

– И намерзнешься, – добавил мужик.

Где-то Стенька его видел...

Человек, целыми днями расхаживающий по Красной площади, видит столько всяких рож, что куда их всех упомнить! Стенька, судя по благорасположенности мужика, решил, что когда-то оказал тому незначительную услугу – может, воришку отогнал, может, разнял закипевшую было ни с того ни с сего, как это часто случается на торгу, свару.

– Всяко бывает, – копаясь в памяти, отвечал земский ярыжка. – Вот, подьячего своего жду, так одно спасенье – тулуп.

– Да, тулуп у тебя знатный, – похвалил мужик. – А что, не ты ли сегодня на торгу диковину нашел?

– Какую диковину?

– Сказывали, парнишка мертвый, а при нем – деревянная книжица.

– Был такой парнишка. Царствие ему небесное...

– Грешен, люблю диковинки, – признался мужик. – Я-то грамоте учен, коли какая книга полюбится – сам себе и перепишу. А что в той книжице-то было?

– А шут ее знает! – честно отвечал Стенька. – Ни буквы не разобрать.

– Я-то разобрал бы, – похвалился мужик. – А коли что путное – я бы и алтын заплатил, чтобы мне переписать дали.

– Так говорю же – не по-нашему писана!

– Так то и дорого! Может, лексикон какой?

– Что?!

– Лексикон, сиречь словник. Когда справа – по-нашему, а слева – скажем, по-гречески или по-латински писано. Против нашего слова – иноземное, так и учишь. Или, может, космография? Там вообще такие знаки, что не всякий поймет.

– А может, и еретическое писание, – отрубил Стенька. – Еретиков-то много развелось! Вот они закрытым письмом свою ересь писать и наловчились!

– Где ж тот парнишка деревянной книжицей разжился, как полагаешь? – спросил мужик. – Ведь коли она еретическая – стало быть, ему какой-то нехристь подсунул, а?

– Да уж не книжица ли его и погубила? – вдруг сам себя, да еще вслух, спросил Стенька.

– И такое бывало! – подтвердил незнакомый знакомец. – Слушай, Христом Богом молю, вынеси мне книжицу! Раз один только глянуть!

– Алтын, говоришь? – уточнил Стенька.

– Алтын! Это коли переписать дашь. А поглядеть – деньга.

Стенька вздохнул – алтын проплывал мимо носа.

– Отойдем-ка... – И он уже, сдернув меховую рукавицу, полез за пазуху.

Но, видать, и дармовой деньги Стеньке в тот день не полагалось.

– Ты куда, Степа? – окликнул с крыльца Деревнин.

Народ расступился, когда он принялся спускаться. И то – шел плавно, чинно, с достоинством, не хуже иного боярина. Бояр, впрочем, Стенька видывал всяких: как к Кремлю подъезжать – так орлы, как возле Постельного крыльца суетиться в надежде на государеву милость – куры, да и только! И завизжит иной не хуже бабы на торгу...

Стенька развел руками: прости, мол, не судьба! И поспешил к Деревнину, и помог ему перейти скользкое место, и, поскольку толпа скопилась густая, пошел за ним следом, носом в спину. Иначе, рука об руку, они бы по торгу и не прошли.

Печатня была совсем неподалеку, на Никольской.

– А что, Гаврила Михайлович, не найдется ли там другого грамотея, кроме еретика? – спросил Стенька, поравнявшись с начальником и чувствуя, что вольные разговоры не возбуждаются.

– Поищем, – кратко отвечал Деревнин. – Грамотеи-то есть, да к ним далеко добираться. На Воробьевы Горы, в Андреевскую обитель.

– И точно!

Добрых десять лет назад государев любимец, книжник и умница, боярин Федор Ртищев надумал завести ученое братство для перевода богослужебных книг. С этой целью он выпи-сал из Киево-Печерской лавры ученых монахов во главе с Епифанием Славинецким. Их посе-лили в заново отстроенном монастыре и вменили в обязанность обучать желающих греческой, латинской и славянской грамматикам, риторике, философии и другим словесным наукам. Рти-щев затевал со временем устроить там духовное училище.

– Ты, Степа, деревянную грамоту-то не забыл?

– За пазухой.

Стенька поскользнулся и чуть не приложился коленом.

Накануне Масленицы дни уж не с птичий нос, как под Рождество, однако темнеет рановато. Хорошо бы Деревнин сразу после посещения печатни и отпустил домой, подумал Стенька, все равно на торгу в такой снегопад уж будет пусто и никаких дел в приказе тоже не предвидится. А мороз понемногу крепчает, зима выдалась посереднее минувшей, и возвра-щаться домой, в Замоскворечье, когда ночь окончательно накроет город, его улицы с пере-улочками, – радость сомнительная...

Печатный двор на Москве был не помещен в подходящие по величине палаты, а нарочно отстроен еще при государе Михаиле Федоровиче. В том же году государь и скончался, так что не у кого москвичам спросить, что означает изображение на воротах. При всей своей богобо-язненности покойный государь велел поместить там не образ святого, а двух тварей, льва и единорога, виду самого драчливого – оба вскинулись на дыбы, и лев единорога когтит, а тот ему прямо в пасть уставил растущий из середины лба, длинный и узкий, похожий на кончар рог. Над ними обоими была вырезана корона.

Диковинно было – входишь в такие знатные ворота, и перекреститься не на что...

Ученый муж, он же – ведомый еретик Арсений Грек жил то в Чудовом монастыре, в своей келье, то, когда дела случалось много, – при печатне. Справившись у ворот, Деревнин со Стенькой пересекли невеликий двор и поднялись во второе жилье. Там они, постучав и услы-шав голос, вошли в низкую дверь и молча перекрестились на образ Богородицы, единственный в помещении.

Пораженный великим множеством книг, Стенька понял, что не Грек, а они тут хозяева. Арсений отрекся от суконных расшитых полавочников, стелил войлочные тюфячки, какие в Земском приказе давно бы уже, ухватя двумя перстами, вынесли и выкинули нищим. Он поста-вил три стола – два длинных, наподобие приказных, и один совсем маленький, для чтения и письма. Очевидно, за ним Арсений сличал написанное и выправлял ошибки в книгах.

Длинные столы были покрыты толстыми томами, застегнутыми и расстегнутыми, слоем не менее чем пол-аршина, и сверху лежали густо покрытые строчками несшитые листы. Стенька украдкой взял было один посмотреть и удивился – влажный! На маленьком столе тоже громоздилось несколько книг, чернильницы же были сдвинуты к самому краю, а подсвечник, видать, не раз валился на пол. Стол даже не был устлан сукном, а широкий, на задастого чело-века, но с крошечными, словно от детского сиденья, резными подлокотниками стул имел вой-лочную крышку самого жалкого вида.

Хозяина, видать, это убожество мало волновало. Он пошел навстречу Деревнину, при-ветствуя и раскидывая руки, как бы для объятия, но не обнял.

Это был человек невысокий и плотный, в черной потертой ряске, в черной скуфеечке, с крутой проседью в черных же волосах и бороде, носатый, живой и более того – яростный. Он усадил Деревнина, как положено сажать гостя, на лавку, но сам оставался стоять и даже ходил, разговаривая. Стенька удивился было – как же непоседа трудится над книгами. Но вскоре заме-

тил под образом Богородицы высокую подставку. Она была как раскладной табурет, какие уже стали появляться на Москве, только что высокая, человеку по грудь. Когда она стояла раскрытая, один край был выше другого. На красную толстую кожу, натянутую меж двух палок, клали тяжелую книгу, ножки подставки чуть съезжались, кожа провисала и книга оказывалась как бы в углублении, откуда не могла уж свалиться на пол. Стоя было удобно читать и поворачивать страницы.

– Деревянная книжица? – Белая, не знавшая тяжелого труда и даже солнечного света рука протянулась, раскрылась ладонь, и в движении было нечто повелительное.

Стенька достал и вручил.

– О-о... – Арсений Грек не сразу понял, как правильно брать дощечки, и Деревнин со Стенькой невольно переглянулись – надо полагать, не из печатни это диво украдено.

На всякий случай подьячий спросил, не замечено ли какой пропажи. Пропажи замечено не было, и парнишки, служившие при печатне, тоже все оказались живы и здоровы – ученый муж нарочно вызвал ключника, и тот доложил, что и к ужину, и к завтраку все дармояды явились исправно!

– А не продадите ли книжицу? – осведомился Арсений.

Он уже так ее цепко держал, что Стенька забеспокоился – не пришлось бы силой отнимать.

– Как разберемся, что за книжица, да не из-за нее ли парнишка погиб, то и подумаем, – кругло отвечал Деревнин. – А что, тебе эти буквы известны?

– Кабы известны были! То-то и мило, что впервые такие вижу! Я бы заплатил, сколько надобно.

– Мы в приказе так и сяк рядили – не еретики ли богомерзкое письмо выдумали?

– Нет, батюшка, не еретики... – Арсений задумался, потряс головой, как бы напрочь отрицая такую возможность, и громко хмыкнул.

– А кто же?

– А вы бы мне денька на два, на три книжицу-то оставили! – попросил ученый муж, и в черных глазах была мольба пополам с хитростью. – Я бы в книгах поглядел, похожие знаки нашел!

– И переписал бы для себя, поди? – догадался Деревнин.

– Грех не переписать! Коли продать не хотите. А то бы выменять на иную книгу, а?

– Нет, святой отче, ни продать, ни оставить, ни выменять не могу, потому как это – улика, – твердо сказал подьячий.

– На денек лишь! Эта книга, может, одна такая на белом свете и есть!

– Коли еретики повадились на дереве закрытым письмом писать, то уж точно не одна! – отрубил Деревнин. – Да и на что тебе, святой отче, эти еретические блядни разбирать? Вам тут велено богоугодные книги печатать – вот ими бы и занимались.

– Вот ими-то и занимаемся! – горестно отвечал Грек. – О спасении души лишь печемся! Дельных книг на складах не найдешь – и не старайся. Вот взять хотя бы «Устав ратных, пушечных и других дел...», как бишь дальше-то?

Грек задумался, припоминая мудреное название, да и махнул рукой.

– Когда его Онисим Михайлов завершил? – спросил он Деревнина. – Не знаешь? И я не знаю! Но только было это, когда наш государь еще и на свет-то не родился! А как полагаешь – напечатан «Устав»?

– Нет, разумеется, чего его печатать? – удивился Деревнин. – Вам-то дай Бог букварей на всю Москву запасти! Устав-то не каждому нужен.

– Когда государство ведет войну, – Арсений поднял вверх перст, показывая, что скажет нечто важное, – такие книги у каждого служилого человека должны быть!

– Да есть же книга! – вспомнил подьячий. – И напечатана! Зачем еще другая?

– Есть! Более десяти лет назад, когда государь только-только на царство венчался, перевели для него с немецкого «Учение и хитрость ратного строя пехотных людей»! И велел он эту книжицу напечатать, с немецкими же рисунками! А что проку? Ее лишь любопытства ради читают. А Онисима Михайлова книга – дельная. Ее бы напечатать, рисунки гравировать хоть бы и иноземцам отдать можно!

– Да кому требуется, тот переписать закажет, – возразил подьячий. – Вам же тут велено церковного круга книги печатать.

– И заказывают переписать, вон у меня переписанная стоит! – Грек показал на книгохранилище. – Монахам-то прибиток, да что они в ратном деле смыслят? С ошибками переписывают, то слово, то два выкинут. Мне сказывали, было как-то – в жалованной грамоте в государственном титуле слово случайно выкинули, так подьячего, что писал, батогами били. А в «Уставе ратных дел» слово-то, поди, поважнее того, что в грамоте!

Стенька, услышав такую крамолу, смутился, но спорить не стал. Тут у них, у книжников, свои понятия, да и не спорить они с Деревниным сюда явились.

Грек оказался въедливый – проявив воинственность своего нрава, и так, и сяк выпрашивал книжицу, насилие от него и отвязались. Посоветовали на прощание бить челом патриарху Никону – пусть велит по окончании следствия изъять деревянную грамоту из Земского приказа и передать в печатню. Государь хотя порой крепко патриархом недоволен, однако на время военных походов его на Москве за себя оставляет, так что власть у Никона – немереная.

– И точно – еретик! – тихо сказал, выйдя за ворота, Деревнин. – Книжицу ему оставь! А потом и следа не найдешь! Скажет – мыши изгрызли!

Мыши были и главными вредителями, и порой – главными спасителями в приказах. Как нужно, чтобы столбцы с делом взяли да и сгнули, так, что концов не сыскать, тут мыши и приходили на помощь!

– Я сразу почувял! – не удержался от хвастовства Стенька. – Видал, Гаврила Михайлович, как я у него книжицу-то выхватил?

И похлопал себя по груди, где за пазухой лежала загадочная улика.

– Ты, Степа, молодец, – похвалил подьячий. – Да только зря мы сходили. Печатня тут ни при чем. Я-то грешным делом надеялся, что парнишка от Грека убежал и книжицу унес. Вот бы и дело закрыли. А теперь розыск только начинается... Ну, Грек! Не иначе, воеводой себя вообразил – военную науку ему подавай!

Безмерно довольный, что Деревнин на равных обсуждает с ним грядущий розыск, Стенька пошел с начальником рядом, тропка меж сугробами была узкая, скользкая, плохо различимая в темноте, и они жались друг к другу, кренясь и покачиваясь, как если бы провели часа два в кружале.

– Черт бы побрал всех еретиков!.. – продолжал Деревнин, и тут из-за сугроба выметнулось черное, чуть ли не крылатое, и рухнуло на головы подьячему с ярыжкой.

Накрытые тяжелой епанчой, оба повалились наземь.

– Караул! – заорал Стенька не своим голосом.

Место было такое, где имела надежда докричаться до стрелецкого караула. И нужно было иметь немалую наглость, чтобы еще вечером, не дожидаясь ночи, напасть на Никольской, в трех шагах от Красной площади и самого Кремля.

Кто-то треснул по епанче – надо полагать, хотел утихомирить Стеньку, а попал по Деревнину. Подьячий взвыл. Сверху навалилось чье-то тяжелое тело, а может, и два сразу, груз продавил епанчу до утоптанного снега, разделив Стеньку с Деревниным, и подьячий, втиснутый в сугроб, захлебнулся криком.

Уж как воры и налетчики определили, который из двух им нужен – неведомо, а только к Стеньке в кромешный мрак проникла рука и ухватила за грудки тулупа, поволокла наружу.

Другая же рука ловко скользнула за пазуху. Третья зажала ему горло, так запрокинув ярыжину голову, что борода уставилась в самое небо. Тут уж было не до крика и не до караула.

Вдруг хватка ослабла, Стенька был кинут в сугроб по другую сторону дорожки, и тут же раздался скрип снега – налетчики убежали.

– Ка-ра-ул!!! – взвыл ярыжка, выкарабкиваясь. – Гаврила Михайлович! Жив?!?

Он содрал с подъячего старую и грязную епанчу, из тех, какие надевают поверх тулупов от дождя и снега в дальнюю дорогу ямщики, ухватил его за руку и стал вытаскивать из снега. Деревнин отплевывался и кашлял – видать, слюной захлебнулся.

– Кто орет? – раздалось совсем близко.

– Приплелись! – злобно отвечал Стенька. – Как разбой – вас и не докличешься! Как налетчиков догнать – тут у вас брюхо и прихватило!

– Кто таков, сучий сын?! Чего лаешься?! – спросил старший караула, и тут лишь Стенька его признал.

Это были свои же соседи по Стрелецкой слободе, братья Морковы. Они и в караул посылались вместе – Василий, Герасим, Иван да Борис. Старший, Ждан, собирался оставить государеву службу и уже больше занимался иными делами, торговлишкой.

– Ивашка! Бориска! Я ж это, Стенька! Сосед!

– Сосе-е-е-ед?!?

– И точно!

– Что это тут было, Степа?

– Да налетчики же! Подъячего моего поднять помогите! – потребовал Стенька. – Под руки берите! Так! Гаврила Михайлович!..

Деревнин помотал непокрытой головой.

– Шапка! – Стенька кинулся шарить в снегу, отыскал деревнинскую шапку, ударил о колено, чтобы разом выбить, и как мог осторожно нахлобучил начальству на голову. – Надобно его до приказа довести!

– До бабки-знахарки его довести надобно, – сказал Герасим. – Не пришлось бы переполох выливать!

– Сперва – в приказ!

– А чего это на вас напали?

Стенька встал в пень.

– Шапки на месте, шубы на месте, – продолжал Бориска Морков. – Кошели?...

– Грамота!!! – воскликнул Стенька и замер, разинув рот.

– Какая грамота?

– Деревянная!

– Ну, брат, это не подъячему твоему, а тебе бабка переполох вылить должна!

Но Стеньке было не до шуток...

До Земского приказа добежали быстро. Крепкие братья Морковы так с двух сторон подхватили Деревнина – он и ногами, поди, снега не коснулся, по воздуху долетел. Стенька ворвался первый, всполошив подъячих до крайности. Следом внесли Гаврилу Михайловича. И началась суэта вперемешку с великим возмущением.

На кого-кого, но на подъячего Земского приказа напасть?!

В трех шагах от самого Кремля?!

О том, что нападение-то было – на земского ярыжку, а подъячему досталось заодно, в тот миг никто и не подумал.

Земский приказ встал на дыбы!

Протасьев, неимоверно ругаясь, грохнул кулаком по столу – горшок с клеем подскочил и раскололся, все кинулись спасать готовые столбцы и чистую бумагу. Аникушка Давыдов порывался сам бежать со стрелецким караулом ловить налетчиков. Емельян Колесников грозился

всю Москву вверх дном перевернуть, а особенно – Разбойный приказ, потому что налетчики уж точно пришлые, коли на человека, сопровождаемого земским ярыжкой, напасть осмелились. А ярыжку не признать – это слепым быть надо! Вон же на нем красные буквы, на самой груди, в пядень высотой! Справа – «земля», слева – «юс»!

На Деревнина вдруг напала икота. И Стеньке, пока его отпаивали ледяной водой, пришлось отвечать на все вопросы.

Стало ясно, что налетчики едва не совершили смертоубийства из-за деревянной книжицы...

– Точно вытащили? – не поверил ушам Колесников.

Стенька распахнул тулуп:

– Вот тут лежала! Чуть меня, сироту, не удавили из-за этой блядской грамоты!

Осознав случившуюся нелепицу, подьячие как-то сразу замолчали...

– А грамотка-то непростая... – молвил Аникей.

– Еретическая, говорят тебе!.. – не слишком уверенно добавил Протасьев.

В полной тишине из угла раздался бас:

– А мне-то как быть, батюшки, кормильцы? Товар стоит не прибранный, все разворуют!

Это напомнил о себе всеми позабытый Васька Похлебкин.

Коршунами налетели на него подьячие:

– У тебя в санях тело нашли! Что за тело? Не знаешь? Должен знать! Через это твое тело чуть людей не убили!..

– Да не знаю я ни черта!..

Ругались и разбирались допоздна.

Кто ни заглядывал в приказ – все слышали возмутительную повесть о нападении. И где! В трех шагах! На Никольской!..

Так этого дела оставлять нельзя.

Проучить налетчиков следует, чтобы всей Москве неповадно было!

Пусть знают, каково Земский приказ задевать!

Когда Деревнина отправили домой на извозчике с Аникеем Давыдовым, когда заново отобрали сказку у Похлебкина, старые приказные орлы, Протасьев с Колесниковым, усадили Стеньку перед собой и так принялись допрашивать – бедняга вспотел.

– Одно из двух, – сказал Протасьев. – Либо тот еретик, Арсений Грек, догадался и своих людишек за вами выслал – грамоту отобрать, уж больно полюбилась, либо, Степа, кто-то еще на торгу приметил, как ты ее в приказ понес, и шел за тобой, и вас с Деревниным попросту выследил.

– Да Грек же! – воскликнул Стенька. – Он старичишка драчливый, все бы ему воевать! Я и в келье-то у него насилу ту грамоту отнял!

– Не вопи. Ступай-ка лучше домой, время позднее, да берегись, как бы вдругорядь не напали. А завтра пойдешь туда, где вся эта докука приключилась, поспрашиваешь. Может, кто вокруг того места крутился и торговые люди его приметили?

– Безнадежная затея, – не одобрил Колесников.

– У тебя что получше найдется?

Пора было расходиться. Стенька вышел разом с Протасьевым.

Странно было видеть пространство у крыльца Земского приказа пустым. Тут обычно с раннего утра народ толокся. Они отошли немного.

– Что ж это Емельян застрял? – спросил Семен Алексеевич.

Стенька оглянулся.

Никто не спускался по ступеням, зато некая черная тень взлетела по ним торопливо и толкнула дверь.

– Кого еще черт на ночь глядя несет? – спросил Стенька.

Но не возвращаться же было.

– Может, Емельян с кем условился? – предположил Протасьев. – Мало ли – из Верха кто? Такой человек, что и днем ему приходится невместно, и к себе позвать не может? Дела-то разные бывают. Вот как-то у государыни из покоев чарка пропала – тоже ведь и нам потрудиться пришлось...

И они побрели дальше.

* * *

Треклятый Голован опять отличился.

– Данила!!! – заорал Богдаш, но было поздно.

Парень уже летел в одну сторону, а ведро с водой – в другую.

Богдаш кинулся помогать приятелю.

– Кость-то цела?

Данила ощупал бедро. Больно было чуть ли не до слез.

– Цела вроде...

– Что ж ты не поберегся? – принялся поучать, стоя рядом на корточках, Богдаш. – Знал же, что это за песья лодыга! Я гляжу – он ногу-то к пузу подтягивает и на тебя косится, а харя такая скверная! И как лягнет вбок! Сколько живу – ни разу не видывал, чтобы лошадь вот так, от пуза вбок, копытом била!

– Это он мне что-то припомнил, – Данила вздохнул, припоминая. – Может, что я ему вчера не первому корм задал? И кусаться он лез наемни, да по губе схлопотал...

– Возьми кнут да и поучи его, – велел, подойдя, дед Акишев. – Не то вообразит, будто он тут главный! И будешь ты с ним горькие слезы проливать.

Данила поднялся, взял протянутый кнут, хромая, подошел поближе и пару раз оплеп Голована по крупу. Тот подался в сторону, глядя так разумно, будто словами выговаривал:

– А все равно я тебя сильнее уел, чем ты меня!

– Ну, что с ним станешь делать? – спросил Данила. – На мясо разве пустить?

– Коли всех норовистых бахматов на мясо – кого седлать будем? Аргамаков, что ли? – полюбопытствовал Богдаш. – Так они свой жир еле волочат! Ну, сам идти сможешь? Или на закорки тебя брать?

– Сам управлюсь! – Данила не любил принимать помощь.

То есть от Тимофея Озорного или от Семейки Амосова еще мог бы, но не от языкастого и ядовитого Богдана Желвака.

– Как знаешь.

Богдаш пошел по проходу меж стойлами – высокий, едва не головой под самый потолок, и кудри его, удивительной желтизны, были в полумраке как широкий огонек свечи.

– Ишь ты, государевы аргамаки жир еле волочат... – неодобрительно проворчал дед Акишев.

– А то нет? – удивился Данила.

Красавцы-то они были холеные, с лебедиными шеями, и знатно выступали под боярами, звеня заменяющими поводья гремучими цепями, бубенцами на запястьях и даже цепочками в два-три звена на подковах, но коли погнать взапуски любого из этих коней с Голованом, то на первой же версте и станет ясно, что против бахмата им делать нечего.

– Сейчас я тебе, дураку, растолкую, что есть подлинный аргамак, – дед Акишев пошел меж стойлами, даже не глядя, ковыляет ли Данила следом. – Ты в бессмыслице своей полагаешь, будто аргамак – это когда грива по земле метет? Когда хвост хоть веревкой подвязывай? Такого коня под боярыню седлать, бабьим седлом – видал? Вроде креслица! И ездить на нем шагом! Вот – аргамак!

Он указал на сухого, поджарого, хотя корм на государевых конюшнях был хороший, недавно приведенного и еще не изученного конюхами ладного конька.

Позвал:

– Байрам! Байрамка!

Конь повернул голову, посмотрел деду прямо в глаза своими – огромными, темными, пока – спокойными.

– Байрамушка, дитятко... Гляди! Головка у него легкая, малость горбонос, но это еще не примета. Уши длинноватые – вот примета! Холка высокая – еще примета. Зад висловатый... ну, это не главное... А, вот! Щеток у него нет!

В доказательство дед нагнулся, ловко ухватил и, сгибая, приподнял конскую ногу.

– У аргамака грива и хвост небогатые, да их и впотьмах пальцами узнаешь – как шелк. Потрогай!

Данила прикоснулся к черной гриве гнедого конька.

– А вот выведем погулять, осветит его солнышко, и еще приметку увидишь. Шерстью он золотист. Бояре не все в конях толк знают. Этого аргамака под себя не всякий возьмет. А он-то и есть самый нестомчивый! Им главное – были бы бока крутые. А для наших дел толстобрюхие не надобны...

Даниле загорелось – взять этого Байрамку да и попробовать, прогнать по льду Москвы-реки, где совсем скоро, на Масленицу, выгородят из снега место для конских бегов. Да какое там! Голован так двинул – ногу до стремени не задрать, больно!

И промаялся Данила два дня, растирая больное место всякой вонючей дрянью, пока не удалось сходить в баню и распарить бедро. И то еще наутро боль чувствовалась.

– Ну, что, убогий, хорошо тебя Голован подковал? – осведомился дед. – Ну да я тебе работу придумал. Ступай в шорную! Будешь там сидеть и трудиться, а оттуда – ни-ни!

Данила уж было обрадовался – наконец хоть кто-то поучит сбрую шить и чинить. Но дед, отлучившись, вернулся со своим любимым лукошком, в котором лежало доверху разного добра, завернутого в холстинки и разложенного по ларчикам.

– Давно пора тут разобраться, – ворчал дед, выкладывая на узкий стол все это имущество. – Вот кто бы мне объяснил, с чего серебро чернеет? Не от сырости же? Вдруг назавтра государь в поход подымет, а у нас не серебро, а хуже грязи подзаборной...

Он стал выкладывать конские оголовья, решмы, бубенцы, что цепляют для звона на конские запястья, гремячие цепи из крупных колец, заменяющие поводья, отдельные чеканные бляхи от ремней.

– И вот чем мы государю сбрую-то украшаем... – Дед Акишев открыл ларчик. – Вот его любимые подвесочки.

Данила не понял – за что их любить? Невидные, не блестящие, что-то тускло-коричневое в серебро оправлено... С острыми кончиками...

– Медвежьи когти это, дурень, – беззлобно объяснил дед. – Сам государь зверя добыл. Большой зверина попался, чуть рогатину не сломал. Государь велел когти в серебро обделать и к сбруе привешивать. Гляди, когтищи-то! Матерый был медведь!

Данила даже рот приоткрыл – оказывается, государь и на медведя хаживал! А он-то думал – все лишь соколами балуется.

– Стало быть, почишь серебро-то, чтобы сверкало. На оголовье видишь – орел? Чтоб от него искры сыпались!

И все утро Данила добывал эти самые искры...

Ближе к обеду решил поискать Тимофея.

Аргамачьи конюшни были невелики, особо спрятаться негде, притом – на кремлевских задворках, где не только трудились, но и жили в хибарках государевы людишки – пекари, мовники и мовницы, птичницы, весь кухонный чин, даже иные истопники, а истопник в госуда-

ревых покоях – лицо важное, он не только печами заведует, а и у дверей стоит, стражу несет. Там же в крошечных избушках ютились и местные нищие – чтобы не так далеко было бегать к папертям кремлевских храмов. Один такой домишко, совсем закопченный, занимали Тимофей и Семейка. Чтобы туда перебежать, и одеваться не нужно было – он стоял прямо в конюшенной ограде. Однако бегать сейчас Даниле было несподручно, и он накинул на плечи тулупчик, тот самый, которым год назад снабдили добросердечные девки с Неглинки, и не за услугу, а потому, что стал богоданным крестным сыночка их подружки, Федосьицы.

У самых дверей он увидел Богдана Желвака. Тот нес Тимофею лубяной короб, откуда торчали досточки.

– Принимай гостей! – велел Богдаш, отворяя дверь.

– Принес, что ли? – буркнул занятый делом Тимофей. – Ставь-ка сюда.

Конюхи всякие ремесла знали, не только сбрую – кафтан могли сшить, были такие, что книги переплетали. А иные промышляли изделиями из слюды.

Конечно, изготовить преогромный церковный выносной фонарь-иерусалим, размером поболее ведра, целый терем со слюдяными стенками, с наклепленными на подкрашенную зеленым и рудо-желтым слюду прорезными железными кружочками, не всякий умелец мог – да и не так много тех иерусалимов требовалось. А окошко соорудить – это умели многие, и особо удачно трудился Тимофей Озорной.

Данила с Желваком как раз и застали его за делом – Тимофей на доске будущее окошко выкладывал, небольшое, в высоту не выше аршина. Посередине он замыслил круг из многих частей, вписанный в сетку из прямоугольных кусочков, и вот теперь подбирал все это добро по размеру.

– Безнадежное твое ремесло, – сказал Данила, насколько мог, прямо, ведь он только учился разговаривать со взрослыми мужиками на равных, и иногда получалось не совсем учтиво. – Через пяток лет никто о слюде и не вспомнит, все стекло в окна повставляют. Вон государь в Измайлове стекольный завод затевает – и кому на Москве тогда твоя слюда понадобится? А черный люд так и так бычьим пузырем или деревянной задвижкой обходиться станет.

– Никакое стекло тебе такого блеска не даст, как слюда, – отвечал Тимофей. – Иной кусочек, как поглядишь, радугой играет, неяркой такой, легонькой. И нежность есть в слюде...

Данила даже голову набок склонил и рот приоткрыл, услышав от Озорного вовсе неожиданное слово про нежность. А тот, сочтя, что высказал все необходимое, опять занялся слюдой, бережно перекладывая кусочки толстыми, темными, с обгрызенными ногтями, пальцами. Эти пальцы могли так зажать конские ноздри, что здоровый жеребец, от резкой боли теряя сознание, валится к ногам конюха. Они без особой натуги выправляли погнувшееся кольцо сбруи. И они же, поди ты...

– Ничего более не скажешь? – как бы напомнил Желвак.

– А чего тут говорить? К вечеру прошу откусать, чем Бог послал! – с неожиданной учтивостью предложил Озорной и объяснил удивившемуся было Даниле. – Именины у меня. Апостол Тимофей сегодня.

– А ты не в честь Тимофея ли Сицилийского крещен? – почему-то забеспокоился Богдаш.

– А коли бы и так? Не к добру это?

– Меж ними два дня разницы всего. А святого своего праздновать нужно, – строго сказал Богдаш. – Тебе-то хорошо, у тебя святой правильный...

– Да будет тебе причитать, – одернул подкидыша Тимофей.

Желвак потому и звался Богданом, что это имя давали парнишкам от неведомых родителей, выкормленным в богадельнях и отданным на воспитание приемным отцу-матери. И места были в Китай-городе для такого богоугодного дела – три крестца, Варварский, Никольский и Ильинский, где накануне Семика бездетная чета могла выбрать себе из стайки младенцев подходящее чадо.

– Так коли у тебя именины... – начал было Данила радостно, и тут Богдан несильно дернул его за рукав шубы, он и заткнулся.

– Пойдем, не станем мешать, – велел Желвак. – Тимофей к пятнице сделать подрядился, а я ему только сейчас весь приклад для переплета принес.

Они вышли на морозец. Данила вдохнул полной грудью – все же в избушке было и тесновато, и душновато, да еще Семейка что-то мастерил из кожи, так что кислятиной хорошо подванивало.

– Ходить-то можешь, убогий? – грубовато осведомился Богдаш.

– Да кое-как волокусь, – не проявляя к самому себе ни малейшей жалости, отвечал Данила.

За жалость Богдаш бы уж наверняка сказал что-нибудь этакое...

– До торга дойти?

Данила сообразил – следовало купить в подарок имениннику хотя бы большой калач. Тащиться через весь Кремль ему совершенно не хотелось, но выглядеть в глазах Желвака (когда были прищурены – прямо ледяной стынью от них тянуло, так казались светлы и беспощадны) неженкой и болезненным дитятком Данила не смел.

– Дойду, чего уж там!

Они пошли мимо государева дворца, меж Благовещенской церковью и колокольней Ивана Великого, вышли к Спасским воротам и оказались на Красной площади, как раз напротив Лобного места. Сейчас, когда никакой торговой казни там не вершилось, всюду гудел обычный для этого времени дня торг.

Богдаш шел впереди, прокладывая путь, и с высоты своего немалого роста оглядывал ряды. Горд был – не подступись, девичьих взглядов и замечать не желал. Когда бойкая, совсем еще юная женка, оказавшись рядом, как бы ненароком ему на ногу наступила, назвал дурой – негромко, да с превеликим презрением. Данила шел следом, дивясь – да что тому Желваку за вожжа под хвост попала? Вроде иногда и рассказывал он, что нашел-де себе чистую бабу, вдову, у таких-то бояр служит, а поглядеть – так он, дай ему волю, всех баб, как тараканов, бы потравил...

– Челом вашим милостям! – Приветствовавший конюхов мужик, невзирая на тесноту, поклонился в пояс.

– И тебе! – отвечал Богдаш. – А кто таков – прости, не признаю.

– Да Третьяк я!

Данила разулыбался – сам не думал, что так обрадуется скомороху. Даже вышел из-за Желваковой спины, протянув руки. Обнялись, да так крепко – Третьяк крикнул.

– Ну, заматерел ты, совсем медведище!

– Силушка по жилушкам, – неожиданно во всю дурь треснув Данилу по плечу, подтвердил Богдаш. – С конями управляется – любо-дорого поглядеть! Они при нем тише воды, ниже травы!

И вот всегда ведь он так – начинал было издевку, да и замолкал, а ты гадай, мучаясь, – подымет на смех или не подымет?

– Его дело молодое, – согласился Третьяк. – Ничего, и усы еще наживет! И девки за ним стадами ходить будут.

Тут Данила окаменел.

Настасья!

Коли Третьяк на Москву приплелся – стало быть, к Масленице, представления устраивать и денежки зарабатывать. И не один ведь! Не иначе, вся ватага где-то сейчас поблизости... и Настасья!.. Ведь это не его, а ее ватага!.. Она их всех привела!..

Нельзя сказать, что парень так уж часто вспоминал Настасью. И без нее забот хватало. Удовлетворив свое любопытство по части женского пола, он как-то сразу успокоился, словно

бы пометил в длинном списке неотложных дел: выполнено. То чувство, внезапное и кратковременное, что кинуло его к Федосьице, растаяло льдинкой в кипятке. Федосьица была зазорная девка, доступная каждому, кто уговорится жить с ней, кормить-поить, прикупит одежек. Дед Акишев, глядя, как парень, еще недавно числившийся в сопливых придурках, все больше делается похож на мужика, вполне определенно обещал следующей осенью женить. И вот, пребывая между Федосьицей и обещанной невестой, Данила был спокоен... был бы спокоен, кабы не...

Ну да, она, ведьма, налетчица, сумасбродная, как все девки с Неглинки вместе взятые, дерзкая, отчаянная и в смехе, и в горести...

Как-то она приснилась. Наутро, вспомнив сон, Данила густо покраснел. Долго думал – нужно ли о таких видениях докладывать попу на исповеди... Решил не смущать попа.

– Толку с тех девок!.. – буркнул Богдаш. – А что, как ватага? Филатка? Лучка?

Про Настасью не спросил, словно ее и на свете не было! Словно и не ее спасал в ночном лесу от налетчиков Гвоздя...

– Собрали мы к Масленице ватагу, – отвечал Третьяк. – Даже с Томилой помирились. Да только сдается, что напрасно. Вы его тут часом не встречали?

– Где, на Москве? – пока Богдаш собирался спросить, что еще за Томила, выпалил Данила. – Так Москва велика, а мы-то все больше в Кремле, на конюшнях.

А сам подумал, что неплохо бы заманить того Томилу именно к конюшням и кликнуть Тимофея с Желваком.

Данила прекрасно помнил, как скоморох пытался оскорбить Семейку, как нарочно напился в «Ленивке», чтобы не сопровождать в опасном деле Настасью. И если бы конюхи легонько поучили его уму-разуму – ему бы это лишь на пользу пошло.

– Да ведь у самого Кремля-то я его, дурака, и потерял. Шли вместе, я отвернулся, знакомцу поклонился, а он и пропал! – пожаловался Третьяк. – У нас на него вся надежда была, он же голосистый! Прибаутки все знает, потешки, поет, пляшет. Не иначе – бойцы сманили! Им ведь тоже скоморох нужен, накрачей – в накрыть бить. И ведь уж совсем срядились, и слово дал, что с другой ватагой не пойдет...

– Коли найдем – куда присылать? – спросил Богдаш.

Третьяк задумался.

– Да он, поди, и сам знает, где нас искать, – осторожно сказал скоморох.

И то верно – мало ли кто признает его в толпе. Скоморохам на Москве бывать не велено. От случайного зловредного знакомого убежать нетрудно. А вот коли такой знакомец услышит и запомнит место сбора – быть беде!

Третьяк обещал прислать за конюхами, когда на Масленицу начнутся представления. Праздник длится неделю, весь город шумит и гудит, за всяким бездельником, питухом и горлопаном стрелецкие караулы не угонятся, сами, поди, к последнему деньку ногами кренделя выписывать станут. Вот и повезет, с Божьей помощью, показать свое мастерство, потешить москвичей да и денежек набрать побольше...

Расставшись со скоморохом, конюхи пошли выбирать большой нарядный калач в два алтына ценой. Перебрав и перетрогав немалое количество этого добра, изругав матерно пятерых сидельцев и получив в ответ пуда полтора того добра, что на воротах не виснет, взяли самый упругий, самый румяный.

– У меня тесто скважистое, – хвалился продавец. – Мой и за неделю не зачерствеет!

Подарок поскорее, пока хватает силы удержаться и не отломить кусочек, понесли в Кремль.

– Семейка сказывал, по-татарски «калач» значит – будь голодный. Должно быть, даже если сыт по горло, увидишь – и есть захочешь, – объяснил Богдаш. – Давай, поторапливайся! Не то за другим калачом возвращаться придется!

Словно напрочь забыл, что Данила хромает!

Стараясь идти ровно, Данила поспешал следом. Не хныкать же – подожди, дяденька, ножка болит! А тут еще и снег с неба рухнул – как будто нарочно его там неделю копили да весь на Красную площадь и вывалили. Поневоле спешить нужно – такой здоровый калач за пазуху не спрячешь.

У Никольских ворот кто-то пихнул Данилу в бок. Человек, видать, спешил, да только семь раз подумать надо, прежде чем с государевыми конюхами так обходиться. Данила рванул наглеца за рукав, норовя поставить к себе лицом, и тот, скользя, повернулся. Но тут же стряхнул с себя Данилину руку и, боком ввалившись в толпу, замешался в ней, пропал за снегопадом.

– Томила! – крикнул парень.

– Чего орешь? – обернулся к нему Богдаш.

– Я Томилу видел!

– Ну и что? Невелико сокровище, чтобы из-за него глотку драть. Третьяк его потерял – он пусть и орет.

– Я его добуду! – грозно заявил Данила. И кинулся следом.

О том, что Томила дружил с кулачными бойцами, был своим человеком в их любимом кружечном дворе, «Ленивке», да и сам считался бойцом не из последних, Данила не то чтобы не подумал, нет, скорее даже очень хорошо об этом подумал. Да ведь он шел не один и был уверен, что Богдаш его в беде не бросит. А Богдан Желвак – косая сажень в плечах и злость в драке неопишутая. Как будто всему миру мстит за то, что рос подкидышем в богадельне.

Данила не ошибся – Богдаш поспешил следом.

– Ишь, укувылял! – Товарищ поймал его за плечо. – На кой тебе тот Томила? Взять его разве к Тимофею, заставить срамные песни петь?

– Гляди ты – к Земскому приказу прибился!

Томила и впрямь был обнаружен у самого приказного крыльца. Но наверх всходить не стал, а сразу затесался в толпу челобитчиков. Ростом он был с Желвака, и его высокий остроконечный меховой колпак торчал приметно.

– Может, с кляузой туда приплелся?

– На Третьяка с ватагой, что ли, просить?

Сама мысль, что скоморох открыто зайдет в приказ и станет там пространно излагать свои скоморошьи беды, насмешила конюхов чрезвычайно.

Они вошли в Никольские ворота и через весь Кремль направились к Аргамачьим конюшням. Там припрятали калач и занялись обычными своими делами – уж чего-чего, а дел на конюшнях всегда хватало.

Вечером собрались в Тимофеевой избенке. Были позваны дед Акишев, без которого ни одно празднование не обходилось, и кое-кто из стряпчих конюхов. Данила, как самый младший, был на подхвате и помогал накрыть на стол.

Это было нехитрое мужское застолье – с солеными огурцами да рыжиками, с квашеной капусткой, с мясным пирогом, все – покупное, с торга, и лежали посередине пять румяных дареных калачей, одинаковых, как будто один пекарь лепил.

Наконец, когда все миски, чарки, баклажки и сулейки уже стояли в должном порядке, Данила присоединился к старшим.

Разлили по чаркам зеленоватое вино, поднесли к губам и дружно повернулись к имениннику. Сейчас бы полагалось первым делом выпить за царя-батюшку, потом за все царское семейство, и добратся до Тимофея понемногу, когда уж большая баклага будет на исходе. Но все за столом были свои, долго засиживаться и много пить не собирались. Опять же – не пированье, чтобы свято порядки соблюдать.

– Быть добру! – сказал Тимофей и совсем было отхлебнул вина, но в дверь постучали.

– Заходи, добрый человек! – позвал именинник.

Дверь приоткрылась, но гость на пороге не встал. Он глядел из холодной темноты, словно требуя, чтобы к нему туда вышли. И лицо гостя было собравшимся знакомо – Семейка, поставив чарку, направился в сени. Просовещался он с гостем недолго, выпроводил его, вернулся и сказал:

– Велено в Верх поспешать. Тебе, Богдаш, Тимоше, мне и Даниле.

– На ночь глядя? Ишь, неймется им! – удивился было Родька Анофриев, но удивление было с изрядной долей зависти – его-то, питуха ведомого, никто за важным делом в Верх не позовет...

– Быть добру! – упрямо повторил Тимофей и единым духом выпил чарку. – Ешьте, пейте, гости дорогие. А мы, может, еще и вернемся.

Приказ тайных дел размещался при самых государевых покоях, чтобы дьяк Дементий Башмаков со своими подьячими всегда был под рукой.

Конюхи прошли узким и низким коридорчиком, встали перед дверью с полукруглым верхом и, как по приказу, перекрестились. После чего Тимофей, как самый старший, поскребся ногтем.

– Заходите живо! – велел Башмаков.

Он был в покоях один, и по лицу видно – сильно чем-то озадачен. Настолько озадачен, что четыре человека ему в пояс поклонились, а он на них и не взглянул, уставясь в разложенные по столу столбцы.

– Твоя милость звать изволила? – обратился Озорной.

– Поближе подойдите, молодцы...

Дьяк поднял голову и поочередно поглядел в глаза Богдану, Тимофею, Семейке и Даниле.

Данила не впервые видел этого человека, еще довольно молодого для такой важной должности. С виду Башмаков был невысок, не румян, вообще неприметен, и, случись Даниле выбирать для него наряд к лицу, ходить бы дьяку в потертой ряске, в клобучке, в смирном платье. Ему, с его ранней плешью, хоть скуфеечку бы носить, из-под которой благопристойно свисали бы легкие светлые волосы. Однако, несмотря на зиму, был он в покоях без головного убора.

Конюхи встали перед столом. Встал и он – ростом вровень с Семейкой, а уж на Данилу ему приходилось глядеть снизу вверх, за последние месяцы парень вершка полтора, не меньше, прибавил.

– Такое дело, молодцы. Не для лишних ушей... – Башмаков задумался. – Слыхали, что сегодня на торгу было?

– Нам по торгу разгуливать некогда, мы государеву службу исполняем, – ответил за всех Озорной, как если бы и не он полдня возился с заказанным слюдяным окошком, отняв это время у бахматов и аргамаков.

– Это славно. Так вот – на торгу грамота сыскалась, писанная закрытым письмом, вдобавок – деревянная. Попала она в Земский приказ. Там дурак-подьячий вздумал ее в печатню на Никольской снести, чтобы определили, откуда такая взялась. А как из печатни выходил – тут на него напали и грамоту отняли. И где она теперь – неведомо.

– Деревянная грамота? – переспросил Богдаш, словно бы не веря ушам.

– Вроде книжицы, и вся исписана письмом затейного склада. Мне эта грамота нужна.

– Как же мы, батюшка Дементий Минич, ее сыщем? – Тимофей даже развел руками. – Мы и вообще в грамоте-то не сильны! Пусть бы твоя милость побольше рассказала!..

– Сам бы я желал побольше знать... – тихо сказал на это Башмаков. – Видите – не подьячих своих посылаю, не Земского приказа дураков! Кроме вас, молодцы, некого, потому что дело, может статься, государственное. Более не скажу. И вы тоже не спрашивайте. Найдете грамоту – награжу по-царски.

– Коли не твоя милость – кто нам расскажет, где грамота сыскалась, как снова пропала? – задал разумный вопрос Семейка.

– Вот сказки, что в Земском приказе от тех двух дураков отобраны, – Башмаков подвинул к Семейке лежащие на столе столбцы. – Я бы вас с ними свел, да только нельзя, чтобы хоть одна живая душа знала, что я вас искать грамоту послал. От нее дорожка, может, к Посольскому приказу тянется, а может, и повыше...

Конюхи переглянулись.

– Так твоя милость нам с собой, что ли, столбцы дает? – спросил Тимофей.

– Посидите над ними, подумайте. Завтра спозаранку пусть... – Башмаков на миг запнулся, припоминая имя. – ... Данила принесет. Истопнику моему Ивашке передаст. А теперь ступайте. И открыто ко мне по этому делу не ходите. Коли будет нужда – ближе к полуночи, Ивашку вызовете, он ко мне проведет. А это – на расходы.

Он взял со стола заранее приготовленные деньги четыре полтины, вручил Озорному, вложил в ладонь крепко и, прищлепнув, сбил Тимофеевы пальцы вокруг денег в кулак.

– Ну, с Богом!

С тем конюхи и убрались.

– Отродясь его таким пасмурным не видывал, – сказал про Башмакова Тимофей, когда они спешили обратно в избушку – праздновать именины.

– Погоди, свет, сядем – разберемся, – пообещал самый грамотный из четверых, Семейка.

Из всех гостей остался только дед Акишев. Прочие знали, если конюха, такого, как Желвак или Озорной, на ночь глядя зовут в Верх, то вернется он, пожалуй, недели через две, хорошо коли не пораненный. А дед Акишев уже не столько знал, сколько чуял. И чутье сообщило ему, что не более как через час товарищи вернутся.

Дед сидел за столом, освещенным лишь огоньком от лампы, маленький, постоянно зябнувший и не спускающий с плеч тулуп даже в натопленной горнице. Сидел себе тихонько и ждал. Может, молитвы про себя твердил, может, задремал. И всем четверым вдруг так сделалось жалко деда Акишева – был ведь мужик в полной силе, и теперь его слово на конюшнях много значит, и дожилась – только и осталось, что ожидать воспитанников своих, пытаюсь придать им сил ожиданием и молитвой, а, может, в какую-то страшноватую минуту и спасти, помянув перед образами имя... А и воспитанники-то уже мужики немолодые, Тимофею сорок, Семейке под сорок, Желваку – и тому тридцать стукнуло.

Поблагодарив деда, что дождался, вежливо его до конюшен проводили и сели разбираться со столбцами. Для такого случая не только сальную свечку на стол поставили, но и железный светец вытащили, и лучину в нем хорошую зажали, и круто ее наклонили, чтобы поярче горела.

– Давно не виделись! – воскликнул Семейка. – Данила, знаешь ли, у кого эту сказку отбирали? У друга твоего сердечного, у Стеньки Аксентьева! Вот кто первым-то дураком был!

Он развернул второй столбец.

– Гляди ты, и Деревнин туда же впутался...

Прочитал, что стряслось с подьячим, и вздохнул:

– Жалко человека!

Третий столбец был сказкой Васьки Похлебкина из Ростоккина.

– Никто, стало быть, ничего не ведает и ничего не понимает, – сделал вывод Тимофей. – Ох, грехи наши тяжкие! Неужто у Башмакова подьячих не нашлось, чтобы их этим делом озадачить?

– То-то и оно! – сказал сообразительный Богдаш. – Коли нас вызвал – стало быть, подьячим веры нет! Даром он, что ли, Посольский приказ поминал? И – выше! Как ты, Тимоша, твердишь – имеющий уши да слышит.

– Я вот краем уха слышал, подьячего одного в Посольском приказе на горячем прихватили, – сообщил Семейка. – Вроде бы он с немцем из Кукуй-слободы сговорился и какие-то важные столбцы ему вынес, грамоту какую-то для него переписал...

– А я о чем толкую! – воскликнул Богдаш.

– Да тише ты, нишкни... – одернул его Озорной. – Стало быть, Башмаков уже и к своим подъячим веры не имеет?

– Какая уж тут вера, коли грамота закрытого письма пропала! – не унимался Богдаш.

– Не галди, свет, – призвал его к порядку и Семейка. – Во-первых, не пропала, а сыскалась. Во-вторых же, как полагаете, почему вдруг не бумажная, не пергаментная, а деревянная?

– А шут ее ведает, – за всех присутствующих ответил Тимофей.

– Вы, светы, про вощенные дощечки слыхивали? По которым острой палочкой или косточкой буквы царапают, а коли написанное больше не требуется, то заглаживают и снова пишут.

– Точно! – воскликнул Данила.

В оршанской школе как раз на таких дощечках он и учился писать.

– погоди, Семейка! – одернул Тимофей. – Поглядим, что в точности про ту грамоту в столбцах сказано!

Богдаш стал развивать задом наперед столбец со сказкой Деревнина, Семейка – со сказкой Стеньки Аксентьева. Он нашел нужное место первым.

– Вот, слушайте! «А доски те деревянные, в пядень с небольшим длиной, в вершок толщиной, а досок четыре или пять, поперек исписаны, знаки не нашего письма, а связаны ремешками». Вот, более ничего...

– «Дщицы в две пядени вдоль, пядень с четвертью поперек, по углам дырки, а дщиц семь или восемь, буквы черные словно врезаны, письма чужого, мелкие», – прочитал Семейка.

– Ну, где тебе тут вощенные дощечки? – спросил Тимофей. – Я тебя спрашиваю!

– А я тебя – скажи, где тут правда? – Семейка отобрал у Богдаша столбец. – У одного грамота в две пядени, у другого – в пядень с малым. У одного – четыре, у другого – восемь! И как бы можно было врезать мелкие буквы? Чем? Вот чтобы процарапать – такая палочка есть, сам видывал.

Богдаш и Тимофей переглянулись – и точно, обе сказки друг другу противоречили. Объяснить несообразность они уж никак не могли, потому Тимофей махнул рукой – мол, черт ли ведает этих подъячих! – а Богдаш рукой же сделал Семейке знак продолжать.

– Вот и раскиньте мозгами. Коли кто из подъячих, Посольского ли, Тайных дел ли приказа сговорился немцу, или голландцу, или хоть турку склад закрытого письма продать, то станет ли этот человек выносить грамоту, тем затейным складом писанную, или перерисует что надобно на таблички да при опасности мигом с них все и сотрет? Может, ему и таблички-то из Немецкой слободы прислали?

– Ах ты, песья лодыга! – воскликнул, первым осознав случившееся, Данила.

Немалая часть государевой переписки велась через Приказ тайных дел и именно закрытым письмом. Уж кто-кто, а конюхи знали это доподлинно – они и сами письма возили, и ключи к затейному складу. И ежели в Кукуй-слободе такая вощенная дощечка окажется – хорошего мало.

Да и на Москве ей, коли вдуматься, зря болтаться нечего. Многие богатые купцы дорого заплатят, чтобы знать, какие приказания шлет государь воеводам во Псков или в Архангельск.

А хуже всего – что есть в том ли, ином ли приказе еще один сучий сын, стервец, выблядок, который может и еще раз переписать на дощечки ключ к закрытому письму да и продать, коли хорошо заплатят... Вот кого выследить надобно! На это Башмаков и намекал!

– Ну, с чего начнем? – деловито спросил Тимофей, встал и повернулся к образам. – Господи Иисусе, и ты, Матушка Пресвятая Богородица, благословите розыск вести!

Затем перекрестился, сел и запустил пятерню в давно не стриженные космы. Поскреб так, что громкий скрип раздался, вздохнул и уставился на Данилу:

– Ну, младшенький, тебе первому слово!

– Надобно докопаться, кто таков тот парнишка! – выпалил Данила. – То, что он не из печатни, уже ясно.

– Откуда тебе ясно? – удивился Тимофей.

– Ну... – Данила задумался. – Коли бы он из печатни, от этого самого еретика, как там его, деревянную книжицу унес, тот бы ее сразу признал...

– Ты греков еще не видывал! – высокомерно сказал Богдаш. – Хитры, черти! Он, Арсений, грамоту, может, и признал, да не проболтался. Судите сами, братцы: Арсений – иноземец, у него наверняка в Немецкой слободе знакомцы есть. Ежели в той грамоте и подлинно ключ к письму затейного склада, то Арсений вполне может оказаться при передаче такого товара посредником!

– Ну-ка, растолкуй! – потребовал Тимофей.

– Не всякий подьячий в Немецкую слободу потащится знакомства заводить – кому они, немцы, надобны? Но и немцу, коли такая тайная нужда до Посольского приказа подьячего, тоже до него добраться трудно. Непонятно, на какой козе подъехать. В таком богопротивном деле, я полагаю, без посредника не обойтись. А Грек как раз подходит: его и наши все знают, и немцы...

– И знают его за еретика и хитрюгу, что тоже важно, – добавил Семейка. – Стало быть, коли деревянная книжица, неведомо кем списанная, была у Арсения в печатне, с чего бы парнишке ее уносить?

– Написано же – все парнишки, что при печатне служат, на месте обретаются, – напомнил Данила.

– Ну, Грек и соврет – недорого возьмет, – напомнил Богдаш. – Стало быть, нужно разведать, не его ли парнишечка... Это – первым делом.

– Коли ты предложил, ты и возьмешься? – спросил Семейка.

– Придется!

– Коли Богдаш прав, то весь узел в печатне завязался, там его и распутывать будем, – сурово сказал Тимофей. – Ишь, богоотступники! Доберусь я до вас!

Данила с Семейкой переглянулись.

Близилась Масленица, а за ней – Великий пост, когда Тимофеево желание бросить конюшни и уйти в тихую обитель наливалось новой силой. Случалось это с ним раза два-три в году. Товарищи норовили такой опасный миг укараулить и принять меры. В прошлый раз напоили Озорного до бесчувствия, в позапрошлый – поклонились подьячему Бухвостову пирогом в три алтына и две деньги, он и отправил Тимофея с двумя стадными конюхами в Рязань – встречать караван коней, который татары, собрав в Астрахани, гнали на продажу в Москву.

Очень уж не хотелось им отпускать Тимофея в обитель!

– Может, прав, а может, и нет, – заметил Семейка. – Стало быть, светы, или молодцы из печатни Земский приказ опозорили, или какие иные. Ты, Данила, полагаешь, что печатня тут ни при чем?

Данила задумался.

– Ну, чего замолчал? – буркнул Тимофей.

– Коли парнишка из печатни... – Данила пытался выстроить в голове то, что еще не имело четких очертаний, и, как на грех, слова в голову лезли какие-то не те. – Коли его с грамотой послали...

– А коли он ее выкрал? – возразил Богдаш.

– Так все равно знал бы, куда с ней бежать! Не для себя ж он ее выкрал! На черта она ему сдалась! – Данилу прорвало. – Что ж он с ней на торг забежал? Туда, где сани стоят?!

– Может, ему там место назначили? – предположил Семейка.

– По торгу сторожа ночью ходят, коли кто там место на ночь глядя назначит – не обрадуется, – возразил Тимофей. – Так дубинкой поглядят!..

– Может, условились, что он в сани грамоту подложит? А, светы? – продолжал предполагать Семейка, и слова его казались глуповаты, однако Данила уже знал повадку товарища. Семейка словно предлагал: вот я дурусти говорю, а вы, светы, мне по-умному возразите, так мы и до истины, чего доброго, доберемся...

– А он и сам туда с книжицей залез? Не-ет! Не то!

– Может, в ином месте замерз, а его в сани подложили?

– Какого лешего?!

– Вместе с книжицей?

Семейка, Богдаш и Тимофей предполагали, Данила вдруг замолчал.

Разгадка была рядом...

Он вспомнил недавнее... недавнее и уже такое далекое...

Когда его вместе с отцом привели с белорусским полоном на Москву, а Москва еще от чумы опомниться не успела... когда бесславно умер отец, успев перед смертью походить по дворам с протянутой рукой... когда сын, ухватившись за шляхетскую гордость, как утопающий за соломинку, забрался в дом, хозяев которого забрала чума, помирать голодной смертью...

И этот мальчишка, которого убивали не голод, не холод, а полнейшее одиночество, вдруг ожил на миг, подсказал!..

– Стойте! – Данила прервал спор, легонько треснув кулаком по столу. – Понял я! Он убежал от кого-то, парнишка тот! Убежал – и добежал до торгога! Там и спрятался! А тот, кто догнал, на торг не сунулся – там сторожа! Парнишка сидел, сидел под рогожей, боялся вылезть, да и задремал!

– От кого же он убежал с грамотой-то деревянной?

– Может, украл у кого?

– Для чего бы младенцу такие вещи воровать?

– Может, младенца послали грамоту передать, а за ним недобрый человек увязался?

– Точно!

Уже не понять было, кто высказал эту мысль, может, и двое сразу.

– И с чего мы взяли, что парнишка непременно при печатне кормился? – спросил Богдаш. – Может, тот еретик Арсений нарочно кого из своих попросил сына или внука привести, чтобы с грамотой послать?

– Стало быть, родитель тот уже давно сынка ищет! – догадался Тимофей.

– Не хотел бы я сына в избе Земского приказа найти... – Семейка даже поежился.

– Сперва по родне, по знакомцам побегает, а потом добрые люди надоумят и до Земского приказа дойти... – Тимофей тоже пригорюнился. – Ох, грехи наши тяжкие... Знать бы, как парнишку кличут, – панихидку бы велел отслужить, ей-богу!

– Ты, гляжу, уж и начал! – одернул его безжалостный Желвак. – Рано или поздно кто-то за парнишкой в Земский приказ явится, и тому человеку тело отдадут. Так надобно пойти в избу, где мертвые тела выставляют, и сказать смотрителю...

– Нет, – прервал Семейка. – Коли нас, конюхов, там увидят и услышат, как мы вопросы задаем, то сразу станет ясно, откуда ветер дует – из Приказа тайных дел! А вот подослать кого не мешало бы.

– А кого? – Богдаш почесал в затылке. – Наши-то знакомцы сплошь кремлевские. Придет, скажем, истопник Ивашка, а его и опознают, и подумают – что бы сие значило? В Верху, что ли, о парнишке знать хотят? Нельзя!

– А твою бабу? – предложил Данила. – Ты ж говорил, что нашел себе одну, чисто ходит и лицом хороша, у бояр служит. Пусть бы она пришла – племянник, что ли, у нее пропал или крестник?

Богдаш как-то настороженно поглядел на Данилу.

– Дура она у меня, – признался, подозрительно долго перед тем думав. – Все перепутает.

– За бабами это водится, – подтвердил Тимофей.

– Не за всеми! – возразил Данила.

Девки с Неглинки, с которыми он невольно свел знакомство и дружбу, были шалавы, но не такие уж дуры.

– А ты что, берешься умную сыскать? – полюбопытствовал Желвак. – Ну, Бог в помощь...

Он так это язвительно сказал, что Тимофей засмеялся, а кроткий Семейка, сторонившийся подобных бесед, улыбнулся.

– А что, и сыщу. Уговорюсь – добежит до избы, скажет, что братец пропал, расспросит...

– И выдаст тебя первым делом!

– Не выдаст!

– А кто такова? – Богдаш прищурился. – Не с Неглинки ли?

– А коли и так?

– Твоя, что ли?

Конюхи переглянулись. По всему было видно – не полюбились им Федосьица.

– Да я ее полгода уж не видел, – честно сказал Данила. – Другая девка есть. Коли ей две или три деньги дать – и пойдет, и расспросит как надобно.

– Ну, денег нам Башмаков выдал достаточно, и как раз на такие нужды, – заметил Семейка. – Завтра с утра сможешь свою девку подослать?

– С утра-то как раз и смогу!

Спозаранку Данила, лба не перекрестив, побежал в баню. В ту всем добрым людям известную, на Москве-реке, напротив Китай-города, куда нанялась служить Авдотьица.

Уходя с Неглинки, она решила – коли не полюбится служба, так можно и вернуться обратно. Служба полюбилась, хотя нанялась Авдотьица в самое горячее время, летом, когда печи в избах и домовые бани каждый день топить не велено, так что вся надежда – на общественную мыльню. Зимой же многие своими баньками обходились, хотя к хорошей девке-растиральщице все равно хаживали.

Топить печи и водогрейные очаги начинали с ночи, а ранним утром в бане было пусто – не такое место, куда чуть свет понесешься. Данила отыскал Авдотьицу на дворе, где она с другими девками носила воду.

– Бог в помощь! – сказал, кланяясь, и поманил пальцем – отойдем, мол, дельце есть.

Авдотьица кивнула, донесла коромысло с липовыми ведрышками до сеней и вернулась уже со свободными руками.

– Как нога-то? – спросила.

Когда Голован приласкал Данилу копытом, как раз сюда и потащили его товарищи лечиться. Сама Авдотьица править такие ушибы еще не умела и позвала лучшую из бабок, обретавшихся при бане и неплохо тут кормившихся. И сама заглянула в угол, где бабка растирала Данилу, убедиться, что все ладно. Данила застыдился – он все еще неловко себя чувствовал в толпе голого народу обоего пола, но Авдотьицу такие глупости уже не беспокоили.

– Хожу потихоньку. А ты тут как?

– Да тоже, с Божьей помощью, потихоньку.

Девка смотрела на него, рослого парня, сверху вниз, а он на нее – снизу вверх и с восхищением. Не у всякого мужика такая стать, такие широкие плечи, как у этой Авдотьицы, хотя сама она от этого тайно мучится. И среди зазорных девок оказалась, видать, лишь потому, что на такой нешуточный рост жениха не нашлось...

– Две деньги заработать хочешь?

– А три? – сразу спросила она.

Данила усмехнулся – не иначе, вздумала на приданое копить.

– Можно и три, – согласился он. – Сейчас, пока ты еще одета, беги на Красную площадь. Где Земский приказ – знаешь? Так к той избе, куда мертвые тела свозят для опознания.

– И чье же мне тельце-то опознавать?

Улыбка у нее была замечательная, белозубая, и румянец некупленный, и глаза ясные, и коса знатная. Убрать бы пол-аршина лишнего роста – и любой под венец поведет. Да вот незадача – убрать нечем...

– Лежит там парнишка лет десяти или чуть поболее... – Данила призадумался, вспоминая, что было в тех столбцах, которые Семейка понес возвращать в Приказ тайных дел. – Шубейка на нем коричневым сукном крыта, сапоги желтые, волосом рус. Ты приди, будто братца или племянника ищешь, вторую ночь дома не ночевал, мать его поругай – мол, плохо за сыном следила. И про того парнишку поспрашивай – недавно, видать, принесли, еще родные не спохватились.

– А коли его там не будет?

– Ну, ты ж разумница, не мне тебя учить! Ты у смотрителя разузнай – коли детей мертвых приносят, как розыск идет, как родителей ищут? И тут же – назад!

– А где ты меня ждать будешь с четырьмя деньгами?

Данила крякнул и усмехнулся.

Нахальная девка ему все же нравилась, хотя о том, чтобы по крайней мере поцеловать ее, он и не помышлял.

– У самых Никольских ворот. Там народу много – я и замешаюсь...

– Ну, гляди...

И вроде никаких вопросов не задала сперва – сразу, без рассуждений, сбегала куда надо, отпросилась ненадолго. И потом, как по льду переходили Москву-реку, тоже о незначительном толковала – о Феклице, о будущей Масленице, о банных своих делах. Данила все беспокоился, не заведет ли речь о подружке Федосьице? А пуще того – не вспомнит ли о Настасье?...

Что-то, видать, Авдотьяца чуяла! Что о Федосьице молчала – так ведь знала, что у подружки с Данилой размолвка, и чужому в такие дела встревать не след. А вот как она догадалась о Настасье ни слова не вымолвить?

И хотелось Даниле услышать про чернокошую гудошницу, и боялся выдать себя...

Уже когда на Красную площадь входили, а там как раз торг разгорался, в великом шуме и гаме спросила Авдотьяца:

– А что, парнишечка-то, видать, убитый?

– Замерз до смерти, – отвечал Данила. – Ну, ступай с Богом, а я – к воротам. Тут и разойдемся.

Он неторопливо пошел по торгу, сторонясь зазывал. Нужно было так лениво пройтись, чтобы выйти к Никольским воротам не сразу и поменьше возле них околачиваться. Как знать – долго ли там Авдотьяца расспросы вести станет?

Девка управилась быстро.

– Идем скорее! – велела она.

И потащила Данилу за собой в самую гущу толпы.

– Ну, что? – спросил он.

– Где мои четыре деньги?

Монеты ждали, уже зажатые в кулаке. Авдотьяца стянула рукавицу и спрятала туда свой заработок.

– Ну, как, приходили?

– Лежит твой парнишечка... Я все, как ты учил, сказала: племянника ищу, мать у него выпить не дура, с таким же пьющим человеком связалась, боюсь, как бы он племянника не пришиб да не бросил под забором.

– Это ты хорошо выдумала, – подивился бабьей смекалке Данила. – И что смотритель?

– Вот, говорит, других парнишек нет. Поглядела я на него, Данилушка, веришь ли – слезы на глаза навернулись. Лежит, личико беленькое, волосики светленькие, рубашечка на

нем вышитая... Знаешь ли что, Данила? Он дома был любимый сынок! Его чистенько водили! Значит, и мать должна сыскаться! Коли жива!

– Постой, постой! Ты что это говоришь?

– А то и говорю! Не из нищего житья парнишечка. И коли никто его не ищет – уж не порешили ли его родителей? Их убили, а он убежал, забился куда-нибудь со страху, да и замерз!

– Ого! – такое ни Даниле, ни конюхам на ум не приходило.

Вот тут уж концы с концами сходились. Старшие – родители ли, опекуны ли, – ввязались в темное дело с деревянной грамотой, из-за которой в трех шагах от Кремля чуть подъячего не убили. Может, и было где-то за высоким забором побоище, а парнишка успел убежать, да и книжицу с собой унес? За ним погнались и...

– И впрямь ты разумница! – убежденно сказал Данила. И тут же крепко задумался.

Как выяснить, было ли на Москве той ночью такое убийство, что бабу с мужиком и всех домочадцев злодеи порешили, а одно дитя пропало без вести?

Это могли знать только в Земском приказе, да и то вряд ли.

Хорошо, коли та семья с соседями ладно жила. Бабы чуть ли не каждый день друг к дружке в гости бегают – сразу злодейство и обнаружат. А если жила на отшибе? Тихо за бревенчатым забором – и слава Богу, скажут соседи. Время зимнее, печь остынет – мертвые тела и пролежат на холоде седмицу-другую, пока кто-то все же не догадается заглянуть.

С таким вопросом нужно было прежде всего бежать к Тимофею, Семейке и Желваку.

– Разумница, – согласилась Авдотьяца. – Да только никто замуж не берет!

– Погоди, найдется и на тебя управа, – убежденно сказал Данила. – Тебе сколько лет-то?

– А двадцать второй годок пошел. Перестарочек!

Человек, более привычный с девками обращаться, сразу бы понял – такими веселыми словечками Авдотьяца с парнем заигрывает. Но Данила только и знал, что краткую любовь Федосьицы, к тому же голова у него сейчас вовсе не девичьим баловством была занята.

– Так это и неплохо, – в лад отвечал он. – Стало быть, ты уже не переборчивая, кто посватается, за того и пойдешь.

Авдотьяца вздохнула.

И было с чего вздыхать! На торгу всякого народу довольно, и больших, и малых, а она идет – и на всех-то свысока глядит! Вот ведь Бог наказал – не иначе, за родительские грехи...

– Ты не охай! Вот увидишь – и зимний мясоед кончиться не успеет, как жених посватается! – пошутил Данила.

Зимнего мясоеда всего-то оставалось две с небольшим седмицы. А на Масленицу уже не сватаются и не венчают, потом – Великий пост, и все дела такого рода откладываются чуть ли не до Троицы.

– Ну, из твоих бы уст – да Богу в уши! – Авдотьяца очень внимательно поглядела на парня. – Выйдет по-твоему – с меня подарок!

– Да что я тебе, бабка-ворожея?

– Не за то.

А за что – не сказала. Рассмеялась тихонько, махнула рукой – да и ушла в толпу.

Удерживать ее Данила не стал. У нее – в бане дела, ему – на конюшню бежать.

Нога побаливала. Но как мог, так и добрался.

Там его ждал Тимофей Озорной.

– Ну, как твой розыск?

Данила пересказал, что услышал от Авдотьяцы.

– Разумница девка, – согласился Тимофей. – Но коли так, то и не придет никто за парнишкой.

– Авдотьяца – не святое Евангелие, может и ошибиться, – возразил Данила. – Надобно каждый день проверять, не явился ли кто!

– И ее каждый день подсылать? Или ты сам убрисом башку обмотаешь и поплетешься, благо усов с бородой нет? – высказав такую мысль, Тимофей громко вздохнул и завершил загадочно: – А ведь придется!

– Что придется? Мне – бабой рядиться? – изумился Данила.

– Нет, Авдотьицу подсылать.

– И платить ей всякий раз?

– Придется и платить...

Беседу эту они вели там, где обычно прятались, когда нужно было перемолвиться тем словом, что не для посторонних ушей, – в шорной. Хотя и дверей она не имела, однако это тоже было неплохо – никто не подкрадется да ухом к щелке не приложится.

Там, где полагалось бы висеть двери, вдруг встал во весь рост Богдаш.

– Ну, братцы, кажись, я на верном следу! В печатне-то переполох! Земский приказ их всех так трясет, так трясет, того гляди, и Грека на дыбу поднимут!

– Обидели приказных! – согласился Тимофей. – Теперь главное – не перестараться.

– Ты о чем это? – удивленно спросил Данила.

Тимофей с Желваком переглянулись.

– Лишней работы не сделать, – сказал Богдаш. – Пусть их потрудятся во славу Божию! Мы мешать не станем, а только присмотрим за ними. А как у них что путное появится, тут и мы к их дельцу пристроимся. Зачем же всем сразу одно дело делать? Ни к чему это, брат Данила!

* * *

Первое, что затеял Стенька утром, – осведомиться, не справлялся ли кто о замерзшем парнишечке.

Затеял он это сам, никого не предупредив, чтобы потом похвалиться своей ловкостью.

Парнишка одет был и выглядел не по-сиротски. Может статься, родные его уже всюю ищут. И коли кто заглянет в избу, тая надежду, что тут парнишки все же нет, то надобно хватать того человека и тащить немедля в Земский приказ!

Полагая, что деревянная грамота – еретическая писанина, и не более, смотрителю сразу и не велели всякого, кто придет осведомляться о парнишке, задерживать и в Земский приказ доставлять. Однако нападение на Деревнина и Стеньку внесло в это дело свои поправки. Писанина-то была опасная! Что, как явится человек из печатни?

Стенька, не заглядывая в приказ, сунулся было в избу. И едва не столкнулся с высоченной девкой в коротковатой шубе, что спешила туда же. Он решил выждать, дать ей время приступить к расспросам, а там уж и ввалиться, чтобы поймать на полуслове. Опять же, вовсе не обязательно, что она пришла парнишку забирать – в Москве по ночам на улицах пошаливали, так что хранились чуть не с Рождества и иные покойники. Время от времени, поняв, что никто за этими горемыками не явится, их вывозили подальше, где потом, уже после Пасхи, всех разом отпевали и хоронили в общей могиле.

Он и сделал бы, как задумано, но его окликнул бегущий мимо приказа к Никольским воротам Емельян Колесников. На него довольно было один раз взглянуть, чтобы сразу узнать – подъячий! Лицо озабоченное и вместе с тем высокомерное, взгляд вроде и не замечающий всякой мелкой шушеры и шушвали, однако острый, побежка шустрая, борода вперед торчит.

Емельян примчался ни свет ни заря, очевидно, после вчерашнего шума, когда Земский приказ чуть ли не на кресте присягнул изловить и примерно наказать обидчиков Деревнина. Он велел Стеньке идти рядом, а сам направлялся в Разбойный приказ, так что яржке пришлось войти вместе с ним в Никольские ворота, выслушивая распоряжения, а потом бегом возвращаться обратно.

Едва выйдя из ворот, Стенька столкнулся с высокой девкой. Он невольно проводил эту посетительницу взглядом – и остолбенел. Девка-то кинулась не к кому-нибудь, а к поджидавшему ее ироду и аспиду, блядину сыну, песьей лодыге, страднику и псу бешеному – Данилке Менжикову!

Тому самому, что не раз оказывался на пути у земского ярыжка, да так оказывался, что еле удавалось и спину от батогов уберечь!

– Ага-а-а... – сам себе сказал Стенька.

Это означало – гляди ты, неужто и государевы конюхи в это дело замешались? Он резко повернулся и побежал к избе – допытываться у смотрителя, чего долговязая девка хотела.

И прав оказался земский ярыжка!

Смотритель Федот прямо доложил: искала, мол, сестры сына, сильно беспокоилась, и на замерзшего парнишечку тоже поглядела, попечалилась.

Этого для Стеньки было довольно.

Кабы тот Данилка не прятался бы в толпе, не подсылал бы девку, Стенька бы и не задумался. А так он задумался, даже в затылке почесал. Не самому же аспиду мертвое тело потребовалось! Стало быть, обозначился за спиной конюха дьяк Дементий Минич Башмаков, глава Приказа тайных дел. О том, что конюхи у него для многих надобностей на посылках, вся Москва знала.

Почему же Башмаков не послал кого-то из своих приказных? Коли дело важное, мог и подъячего сгонять! И писцов у них там довольно...

Задав себе этот вопрос, Стенька сразу же и дал ответ: потому, что дело с грамотой непростое!

Поделиться своим открытием он решил с Деревниным. Тот был его главной опорой в приказе, мог и изругать нещадно, и вступиться, пару раз и из-под батогов в последний миг вытащить успевал. За что Стенька испытывал к нему великую благодарность. Проявлял ее, правда, так, что пожилой подъячий сам своей добротой был не рад: ярыжка приставал к нему со всякими сумасбродными замыслами, сулящими золотые горы и вечное государево благоволение.

Но время шло, а Деревнин не появлялся. Только ближе к обеду человека прислал сказать – болен, всего разбило, и еще икота привязалась.

Это было некстати – Земский приказ круто, круче некуда, взялся за Печатный двор, и каждый человек, тем более грамотный, был на счету. Но именно Стенькина новообретенная грамотность и не пригодилась.

Стенька с утра, как велел Протасьев, пошел опрашивать честной народ, торговавший поблизости от Васьки Похлебкина. Люди и старались что-то припомнить, да плохо это у них получалось.

Инока, что поднял деревянную книжицу, вспомнили многие.

– Да шум-то по всему торгу пошел! – сказал Стеньке один разумный сиделец. – И не было никакой нужды тому человеку в толпе пихаться и тебе на пятки наступать – коли ты ему был нужен, он сразу к приказу твоему поспешил! Если только такой человек вообще на свете есть...

К приказу?...

И тут Стеньку наконец прошиб холодный пот.

Он вспомнил, что кто-то, неуловимо знакомый, осведомлялся о грамоте и, не хуже Арсения Грека, просил ее дать ненадолго, чтобы переписать!

Первая мысль была – видел же, дурак, ворона, видел того налетчика! Чуть ему книжицу своими руками не отдал! А вторая мысль – если сейчас о том человеке сказать в приказе, так лучше сразу раздеваться, ложиться и самому требовать, чтобы батогов принесли...

Кто бы мог быть тот любитель старинных грамот?

С виду он на книжника вовсе не походил. Книжник в Стенькином понятии был равнозначен иноку – человек либо толстый, либо хилый, к мирской жизни мало приспособленный. Или же поставивший себя вовсе над миром, как отец Геннадий из обители Николы Старого, чьего громогласного и уверенного слова все с трепетом слушались.

Тот же, кто пристал к Стеньке у крыльца Земского приказа, был человек совсем обычный, не с иноческим сладкогласием, а с бойким, как у сидельца, говорком. Бывало, правда, что самые неожиданные люди книгами увлекались, да и не только книгами. Деревнин вон про попа рассказывал, который старинные монеты собирает. И ничего уже на тех стертых монетах не разобрать, а ему чем непонятнее, тем милее!

Если свести воедино человека, похожего не столько на книжника, сколько на бывалого купца из небогатых, умеющего при нужде и с кистенем лихо управиться, и с пистолью, и странное любопытство Приказа тайных дел к деревянной грамоте, то не пахнет ли все это, Боже упаси, изменой?

Следовало спешить к Деревнину. Только он и выслушивал все Стенькины откровения. Махнув рукой на свои обязанности, Стенька смылся с торга. Да и кто пойдет проверять, где там бродит земский ярыжка со своей дубинкой? Тем более, должен людей спрашивать о вчерашнем! Забрался, поди, в тихое местечко да и спрашивает!

Деревнин жил недалеко от Охотного ряда, добежать – недолго. Стенька велел дворнику сказать, кто прибыл, и добавить, что дело важнейшее. О том, что прибыл по собственной воле, без распоряжения старших, понятное дело, умолчал.

Дворник взошел на крыльцо, заглянул в сени, доложил кому-то из домашних женщин, Стенька сразу же поднялся за ним. И правильно сделал – из горницы баба крикнула наверх, и знакомый голос велел впустить.

– Как подынешься, так по правую руку, – объяснила баба.

Стенька пошел, куда велено, и заглянул в помещение величиной с его собственную горницу, но с большими, не меньше аршина высотой и двух – в ширину, окнами. И тут же Деревнин откинул коричневый суконный занавес и появился в противоположных дверях, как ходил дома – в тафтяном теплом зипуне без рукавов, зеленом в полоску. Под зипуном была нарядная розовая рубаха.

– Заходи! – велел.

– Бог в помощь! Как здоровьице, батюшка Гаврила Михайлович?

– Твоими молитвами, – буркнул подьячий.

Стенькин приход был ему ни к селу ни к городу.

– Икота-то отстала?

– Отстала, да в брюхе что-то стеснилось, – пожаловался Деревнин. – Дьяку Лопухину при такой хворобе лекарь велел китайский бадьян с сахаром пить. Вот, послал купить фунтовый кулек бадьяна, только что принесли, посмотрим, поможет ли.

– Точно ли китайский?

Деревнин оглядел приобретение.

– Точно. Видишь – как в Китае заклеили, так до Москвы никто бумагу не повредил.

Очевидно, он и дома, хворый, занимался делами. Край красивой расшитой скатерти был отогнут, а постелено суконце, и там стояла кизилбашская чернильница, лежали два пера, оба оправленные в серебро, одно в придачу с хрустальным пояском, лежала и серебряная перница, а в приказ-то брал оловянную! Стопочка голландской бумаги с видным на просвет гербом города Амстердама, несколько книг, облаченных в черную и в красную кожу, одна из них, самая пузатая, с серебряными застежками, и к ним для удобства чтения слоновой кости указка с ручкой в жемчужной сеточке, и все это показывало, что хозяин – человек не простой, достойный. Тут же в круглой открытой коробье лежало свернутое Уложение, которое многие подьячие заказывали для собственных нужд переписать. Длины оно было невероятной – сказывали, под

три сотни сажений, и сыскать в нем нужное место с непривычки оказывалось затруднительно, потому из Уложения торчали бумажные лоскутки с пометками. Там же была диковина – книжечка писчая, которую с собой брать, в черепашьем кожухе. И стояла серебряная немалая стопка – надо полагать, с водой или чем иным от икоты.

Судя по тому, что в комнате была и книгохранильница, резанная из липы, длиною в целых полтора аршина, с дверцами на железных петлях, Деревнин выложил на стол далеко не все свои сокровища. Может, и пустая стояла книгохранильница, для виду – в самом деле, зачем подьячему столько книжек? Для Стеньки, уже примеряющего на себя внутренне подьяческий чин, важным показалось иное.

На скамье, где сидел, работая, Гаврила Михайлович, лежали не жалкие тюфячки, которыми пользовались подьячие в приказной избе (на голой скамье ежедневно по двенадцать часов сидеть – мозоли на гузне натрешь!), а суконные коричневые подушки.

Гордый новообретенным умением разбирать склады, Стенька взял одну книгу, черную, раскрыл доски и прочитал (сперва про себя, шевеля губами, потом же торжественно повторил вслух):

– «История Казанского царства»!

– Гляди ты! – высказал удивление Деревнин. – Совсем бойко выучился!

– Я вот, Гаврила Михайлович, одного понять не могу, – признался Стенька, взвешивая в руках тяжелую книгу. – Зачем их в досках делают? Тут же доска – в вершок толщиной!

– Ну, поменьше будет, – Деревнин забрал книгу и бережно положил обратно. – А в досках и с застежками – так это от пожара. У тебя-то дома книг не бывало, ты и не знаешь, что с книгами в огне делается.

– Горят, поди?

– А вот гляди...

Деревнин взял другую книгу, с зелененьким обрезом, положил, нажал на нее сверху – и то с трудом замкнул застежку.

– Видишь, как плотно? А теперь представь, что эта книга в огне оказалась. Пока он доски сгложет, огонь и зальют, они же долго гореть будут. Страниц же пламя не тронет, а что обрез малость обгорит – не беда, на то в книгах и делают широкие поля. Подрезать чуток – и будет книга как новая.

– Хитро! – одобрил Стенька. – Поглядеть можно?

– Нужно, – решил Деревнин. – Это Евангелие.

Стенька бережно снял со стола Евангелие и подивился серебряным выпуклым жуковинкам по углам нижней доски, на которых, как на ножках, стояла на столе книга.

– Ты, чай, от Грека эту книжную хворь подхватил, – заметил подьячий, и Стенька торопливо положил книгу. – О божественном потолковать пришел, что ли?

– Ох, Гаврила Михайлович! – Стенька разом вспомнил все неприятности. – Уж о таком божественном, что выше некуда!

Подьячий тяжело сел. Ярыжке сесть не предложил.

– Сказывай! – Его лицо от внезапной икоты передернулось, и он спешно выпил воды.

И Стенька доложил, что к деревянной грамоте протянулись когтистые лапы Приказа тайных дел, а для чего – можно только гадать. И, стало быть, они двое, Стенька да Деревнин, виноваты во многом – не придали должного значения диковинной улике, вынесли ее из Земского приказа, допустили, чтобы налетчики отняли...

– Ах ты, Господи... – пробормотал расстроенный Деревнин. – Вот ведь беда... Да ты съдь, Степа. А что наши?

– А что наши! Рьяно за дело взялись! С самого утраца Протасьев всех собрал да как возгласит: братцы-государи-товарищи!..

Такое обращение обычно означало не то чтобы приказ, скорее – отчаянную просьбу действовать скоро и толково ради общего приказного блага.

– И сам в печатню отправился, и Елизария с Захаркой с собой взял, и Гераську-писца, и стрельцов для охраны. Стрельцов-то расставить у входов и выходов хотел, чтобы никто не выскочил.

– Ишь ты – целое войско... Да ведь коли грамота в печатне, то так, поди, упрятали, что ее сам черт не сыщет, прости Господи... – Деревнин перекрестился. – Если только ее тогда же, ночью, не переправили куда подальше.

– А чего переправлять? На Печатном дворе столько всякого добра – бочку беременную спрятать можно, никто и не заметит. Коли у них нахальства хватило на нас напасть, стало быть, в безнаказанности своей уверены! – воскликнул Стенька. – А коли Приказ тайных дел в это дело нос сует – для чего бы?

– Ты всех тамошних затей знать не можешь, – одернул подьячий, – да и я тоже. Первое, что на ум бредет, – им, кроме соколиной охоты, гранатного боя и дневальных записей, теперь велено еще за еретиками охотиться.

Дневальные записи – это был смех на все приказы. Государю пришло на ум сличать, какова была погода в разные годы, и подьячие Приказа тайных дел старательно записывали в особую книгу, что, мол, января тринадцатого дня шел превеликий снег, а после того случилась оттепель. Бывало и диковинное – град вместо снега, цветение садов в неположенное время. Но реже, чем желалось бы государю.

– Гаврила Михайлович, мы с тобой оба ту книжицу видели. Буквы в ней вроде наших, а все же не наши. Так я и думаю – это кто-то нашу русскую грамоту для своих черных дел переделал и...

– Нишкни!.. – вдруг взволновался Деревнин и опять запил икоту водой.

После чего тяжко-претяжко вздохнул, сдвинул густые брови – да и застыл, словно готовое прозвучать слово поперек горла встало. И по его лицу Стенька догадался, что подьячий тоже, кажется, что-то понял.

А что мог понять Деревнин такого страшного, чтобы выпучивать глаза и открывать рот? Да то же самое, что уже ошарашило Стеньку, только он успел малость успокоиться.

Не еретики, нет, люди правильной веры нацарапали те знаки на дощечках, но уж не затейного ли письма склад, неведомым путем исчезнув из Верха, вынырнул на торгу, в санях, за пазухой у мертвого парнишки? Иначе Башмаков бы своих людей тайно осведомляться не прислал – нужны ему больно еретики...

– Так что же, Гаврила Михайлович?

– Нишкни... – Подьячий задумался. – Ты это наудалую брякнул? Или доказательство есть?

– Такое доказательство, что хуже некуда. Ты того конюшонка, Данилку, помнишь?

– Как не помнить!

– Он девку подсылал в избу, узнать – не приходил ли кто забирать парнишку! Он кто тому парнишке – брат, сват? Да еще тайно подсылал, сам у ворот ждал, хоронился! А у него за спиной-то – кто?...

– Да-а... Прав ты, Степа. Хуже – некуда... Ты кому-то про это доносил?

– Да ты что, Гаврила Михайлович! Мы с тобой в этом деле больше всех запутаны – стану я всему приказу языком трепать тебе и себе во вред!

– Это правильно. Это разумно... А на кой ляд Греку грамота, ежели она?...

– А он же хитрый! Помнишь, в приказе толковали – он же и в Риме у католиков жил, сам католиком стал, в Турции бусурманскую веру принял, к нам перебрался – православным себя объявил! Он мог, на грамоту глянув, догадаться, что она такое... ежели только не для него самого это сокровище из Кремля кто-то вынес, да не донес...

Деревнин кряхтя встал и потер поясницу.

– Крепко я вчера приложился...

Стенька сочувственно покивал. Подьячий прошелся вдоль стола и обратно, чтобы малость разогнать кровь, и с того ему, видать, полегчало. А может, тело само поняло, как ему устроиться, чтобы не болело. Деревнин навис над столом, согнувшись и упираясь руками.

Стенька, чтобы не быть выше начальства, расставил ноги, присогнул колени и тоже уперся – только в собственные ляжки.

– Путаное дело, – сказал он. – И впрямь похоже, что это молодцы из печатни на нас напали. Знаешь, Степа, а он не напрасно хотел за грамоту большие деньги платить. Он твердо знал, что сам за нее вдесятеро больше получит! Да и покупателя на примете имел!

Они уставились друг на друга с превеликим пониманием. Одно к одному шло, и по кусочкам составлялась картинка, на которой яркими красками изображалось изменническое дело Грека...

– Гаврила Михайлович! – воскликнул Стенька. – Ты смотри, что выходит! Сейчас мы эту чертову печатню, можно сказать, в осаду взяли. Коли он, еретик Грек, той же ночью деревянную грамоту куда хотел переправил, так все наши заботы – коту под хвост! Может, ее и в Москве уже больше нет! Да только я в это не верю!

– Потому лишь, что безнаказанностью своей возгордился?

– Потому еще, что знал – мы на помощь позовем, стрельцы прибегут, будут на окрестных улицах налетчиков искать! А ты стрельцов знаешь – они тогда к обворованному месту караул выставляют, когда красть там уже больше нечего!

Стенька выпалил эту крамолу и уставился на Деревнина – понял ли подьячий, что имелось в виду? Подьячий понял – стрельцы, у которых под самым носом подьячего побили, и точно могли по тому злополучному месту, по Никольской улице, полночи с барабанным боем расхаживать, с них станется...

– Так коли грамота еще там?

– Проще всего взять стрельцов и в печатне выемку сделать, – сказал Деревнин. – Протасьев этим, поди, и займется. Да только там у них имущество такое, что и не знаешь как подойти. Грамота будет на видном месте лежать, а тот, кто делает выемку, и не приметит.

– Нет нужды в выемке, Гаврила Михайлович! Пусть Протасьев делает, как пожелает. Коли она там, да коли она кому-то обещана, – тот человек, ее не получив, сам попытается за ней прийти!

– Вот так тебе голландский посол и поплетется на Никольскую! – остудил ярыжку подьячий. – А коли Грек только при нас, увидев грамоту, догадался, на что ее употребить?

– Так он искать покупателя все одно станет! И коли Протасьев рьяно за дело возьмется, Грек поймет, что незачем ему грамоту лишний день в печатне держать. В первую выемку не найдут – во вторую могут случайно набрести. Ему же самому важно от нее поскорее избавиться! Да и деньги получить!

– А как быть, Степа? Сказать в приказе, что дельце изменой попахивает, такой переполох подымется!

Стенька понял без слов – после подобных переполохов головы летят, батоги по спинам гуляют, многие неприятности случаются.

А с кем они в первую очередь случатся? С теми, кто грамоту проворонил...

– А вот мне тут одна затея на ум пришла, – сказал он осторожно. – Коли получится – мы того человека, что за грамотой придет, может, и выследим.

– Коли о том раньше было сговорено...

– Гаврила Михайлович!

Такая в ярыжкиных глазах была готовность к действию, что Деревнин только вздохнул.

– Я еще похвораю денька два, – сказал он. – А ты каждый вечер потихоньку приходи. Что за затея-то?

Но Стенька не ответил. Он уже, прикусив губу вместе с кончиком уса, напряженно думал...

И по лицу его Гаврила Михайлович все яснее понимал, что ярыжка собрался наворотить немалых дел, руководствуясь лихой поговоркой – или полковник, или покойник.

Такое за ним водилось...

* * *

У Желвака был свой способ вести розыск.

И, надо отдать конюху должное, способ требовал от него немалой доблести. Именно от него! Кто другой бы и радовался необходимости добывать сведения именно так, а не иначе, – Желвак же хмурился. Но, постановив для себя, что иначе много не визнаешь, шел на дело примерно так же, как иной злодей нераскаянный – на плаху.

Если бы кто видел Богдана Желвака приближающимся к печатне на Никольской улице, так бы и решил – добрый молодец похоронил, как в чуму, всех родных и близких, домишко у него сгорел, а бабка-корневщица объявила, что против его смертной хвори у нее травок нет.

С такой вот пасмурной рожей, повесив голову, брел Богдаш по Никольской улице к Никольскому крестцу – одному из тех трех московских крестцов, где стояли особые часовни для крестного целования по важным случаям и куда на Семик привозили младенцев из богаделен, чтобы бездетные супруги могли выбрать дитя, какое полюбится. Самого Желвака так-то выставляли – и хорошо, нашлись добрые люди, да рано их Бог прибрал...

Он собирался посетить церковь Заиконоспасского монастыря, сперва – деревянную, что выходила прямо на Никольскую, а потом и каменный храм. Было это в двух шагах от Красной площади, как раз за иконным рядом, почему Спасская обитель и получила такое удивительное название.

В церковь Богдаш проскочил как можно быстрее и неприметнее. Поскольку печатню тряс и шерстил напропалую Земский приказ, поблизости могли слоняться переодетые соглядатаи. А знать приказным, насколько это дело важно для Башмакова, было ни к чему. Пусть в простоте своей полагают, будто еретические писания ищут!

Ведь тот, кто отдал человеку Башмакова столбцы со сказками, отобранными у подьячего Деревнина, земского ярыжки Аксентьева и торгового человека Похлебкина, а потом утром тайно их принял, о своем содействии Башмакову вряд ли орать будет. Глядишь, таким путем местечко себе в Приказе тайных дел выслужит, поближе к самому государю.

Рассчитал Богдаш так: сюда ходит весь тот народ, что трудится в печатне и проживает поблизости. И мужья, и, соответственно, жены...

А по опыту он знал, что девки еще чего-то в этой жизни побаиваются, молодые женки же, глядя на его, Богдаша, золотые кудри и широкие плечищи, последний страх теряют и сами бы следом побежали, кабы не угрюмый вид молодца. Стоит только подмигнуть...

За этим и прибыл Желвак в церковь – подмигивать.

Но для своего розыска он все же хотел выбрать женку миловидную, молодую, статную. И такая женка стояла как раз, укрепляла восковую свечку, и огонек красиво осветил ее круглое свежее лицо, полные губы, темные глаза... Да и одета была не бедно и не богато, а как раз так, как надобно. Богатая-то одна в церковь не пойдет, а непременно с ней мамок и девок пошлют, так что от нее толку мало. А с бедной в этом случае Желваку говорить было не о чем. Мастера-то печатные – народ зажиточный, жен богато водят. И всякий, кто при Печатном дворе кормится, неплохо живет.

Богдаш встал так, чтобы встретиться с пригожей женщиной взглядом, и это ему удалось. Он чуть приоткрыл губы, искренне полагая, что должна получиться зазывная улыбка.

Женка, как ей и полагалось, опустила глаза – заметила, значит! Да тут же и вскинула ресницы – убедиться, что не ошиблась.

Богдаш глядел, как если бы перед ним чудо стряслось, приоткрыв рот и вылупив глаза.

Тогда женщина засмушалась и отвернулась. И опять же – метнула через плечико взгляд! Любопытно ей, видать, сделалось – неужто такого красавца из-за нее не на шутку забирать стало?

Богдаш всем видом показал, что готов схватить красавицу в охапку – и, кабы не в церкви, так бы и сделал! И подался было к ней всем телом...

Лукавая женщина имела две возможности. Первая – перейти на другое место, поближе к старухам, где она становилась неуязвима для нахала. Вторая – выскользнуть из церкви в полной уверенности, что молодец выбежит следом.

Женка поспешила к дверям. Шла она, потупив взгляд, но разгоревшись личиком, так что иная богомолка, поди, и смекнула, что тут творится. Выйдя на паперть, женщина устремилась к ближайшему переулку, но устремилась без особой спешки. Спокон веку умные женщины знали это искусство убежать так, чтобы кому нужно – тот догнал.

Скрипом сапог по снегу Богдаш дал ей понять, что вот он, тут, идет следом, а коли не верит, так может оглянуться и убедиться. Она не оглянулась. Знала, стало быть, кто там скрипит!

Богдаш дал ей дойти до середины переулка, и тут нагнал, и, проскочив вперед, заступил дорогу.

– Ах! – словно бы удивившись безмерно, вдохнула она морозный воздух, сверкнула белыми зубами. И чуть запрокинулась голова, обратилось вверх румяное лицо – целуй, да и только!

– Ты чья такая? – спросил Богдаш, надвигаясь на красавицу грудью, отгораживая ее собой от всякого, кто вздумает сунуться в переулок.

– А мужняя жена! – Женщина хотела показать, что и у нее есть норы, что может осадить наянливого молодца одним словечком.

– А что же муж одну в церковь отпускает? – тихим и проникновенным голосом спросил Богдаш. – Не ревнивый, что ли, попался?

– Да не станешь же всякий раз его с собой тащить! Он службу исполняет, – отвечала красавица. – А я и сама за себя постоять сумею!

– Ты всегда сюда ходишь?

– А тебе на что?

Как будто она не знала, для чего молодцы такие вопросы задают!

Богдаш взял ее за плечи и приблизил губы к губам...

– Ахти мне... – прошептала она. – Увидят же!

Но он и не торопился целовать. По своему и чужому опыту Богдаш знал, что за поцелуй, пожалуй, и оплеуху схлопотать можно, а такое ожидание поцелуя – ненаказуемо! Главное – стоять столбом, а добыча пусть ждет да разгорается.

Тем более что нужны ему были поцелуи примерно так же, как чирей на гузне.

– Да пусти же...

– Как звать-то тебя?

– А тебе на что?

– А на именины приду.

– Муж-то такого гостя в тычки выставит!

– А мы и без него именины справим...

– Да Господь с тобой! Я, молодец, не такая!

– Тебя во всем мире краше нет!

Такие немудреные, да страстные речи, торопливые и оттого вдвойне соблазнительные, Богдаш умел вести превосходно, Да и женка отвечала, как по писаному. И хотя оттолкнула, да легонько. Хотя закричать грозилась, но не закричала же!

– Приходи завтра к ранней обедне, – велел Богдаш, опять же по опыту зная, что выпрашивать у красавицы свидания – семь потов сойдет, а не уговоришь, но коли прикажешь таким вот голосом, в котором скрытое пламя и рокошущая ласка, – на край света в нужный час прибежит!

– А и не приду...

– Муж, что ли, вдруг сторожить примется? У муженька твоего сейчас на Печатном дворе других забот по горло.

– А ты почему знаешь?

– Я про тебя многое знаю... – загадочно и грозно произнес Желвак.

Пусть думает, будто он ее давно высмотрел, а ждал лишь того часа, когда в печатне начнутся неприятности и все, там служащие, махнут рукой на домашние дела.

– Ох, не промахнись, молодец...

– Я куда целю – не промахнусь.

Больше в ту встречу Богдаш затевать не стал. Чем время тратить, женку уговаривать, – нужно дать ей вечером, по дому хлопоча, все словечки этой беседы в переулке не раз вспомнить, нужно дать ей ночью от жаркой бессонницы помаяться... К ранней обедне ее душенька как раз и созреет.

На Аргамачьи конюшни Богдаш явился такой мрачный, как если бы не с красивой женкой о встрече условился, а от дьяка здоровый нагоняй получил. Некоторое время спустя прибыл Тимофей.

– А я тебя видал, – сказал Озорной. – Ничего женка! При нужде не страшно будет и оскормиться.

Тимофей очень четко различал грех, который совершаешь добровольно, от греха, который вынужден совершить, находясь на государственной службе. И погубление своей души ради государственного блага считал, похоже, какой-то особой доблестью.

– У тебя что? – спросил Богдаш.

– Совсем они там с ума сбредли! Мужик мочалу привез, сорок связок, цена той мочале – шесть денег связка, велик промысел! Так и того мужика трясти принялись – давно ли сговорился мочалу доставить да точно ли мочалу привез! Боятся, не подошлют ли кого за грамотой, а подослать могут кого угодно, хоть бы и самого бестолкового мужика!

Озорной усмехнулся.

– А что, и бестолковые мужики были?

– Да был один... Приехал на санках, санки лукошками уставлены. Золоу, сказывал, привез. Ему в ответ – да уж куплена зола, поворачивай назад! А он свое гнет – у соседа-де моего золоу брали, а моя лучше! Насилу и отогнали.

– На что им зола? – удивился Богдаш.

– Господь один ведает. Про золоу-то я от кума знал, он им возил. Сбегал я с утра к куму-то, взял лошадь, взял лукошки. Пока у ворот отирался – много чего услышал!

– А кабы вовнутрь пустили с теми лукошками да сказку подьячие отбирать принялись?

– А никого почитай что и не пускали. Уж точно – взяли печатню в осаду! Второй уж день... А что, Богдаш, ведь не зря раньше печатное дело колдовским и богопротивным считали?

– Кто их, грамотеев, разберет! Стало быть, ничего про грамоту ты не прознал?

– Я вот что прознал. Стрельцы строго смотрят, чтобы из печатни не вынесли чего. А есть там сбоку одно окошко, так я сам видел, встала баба на носки да и сунула туда узелок с коври-

гой, и никто ее не заметил! Помяни мое слово – днем-то поостерегутся, а ночью непременно попытаются из того окошка что-нибудь наружу передать. Они, с печатного двора, уже первый страх пережили, теперь приглядываются, поди, как бы изловчиться?

– Ночью стрельцы вокруг караулом ходят. Вторую ночь, горемыки, маются.

– Может, они и схватят, коли кто чего передаст. И в Земский приказ поведут. Да, чаю, не доведут...

Тут Озорной и Желвак переглянулись и разом усмехнулись.

– Пусть Земский приказ черную работу сделает, а мы, молодцы, можем и на готовенькое...

– Вот потеха будет, коли Данила, а не мы, по верному следу идет!

– Опять же, это одному Господу ведомо.

Данилу они отыскивали в шорной, где Семейка обучал его работе с кожей. Там же был им собран и ужин.

Ужинать они собирались попросту – черным хлебом и дюжиной ястыков самой дешевой, ястышной икры, которой не столько съешь, сколько расплюешь, не глотать же все эти жесткие пленки и прожилки. Запить же думали квасом.

– Присаживайтесь! – Семейка подвинулся, освобождая место на узкой скамье. – Тут всем хватит.

Молитву, как старший, произнес Тимофей.

За едой о делах говорить грешно – разве что о самой еде.

– Зернистая икра хороша, спору нет, – рассуждал Богдаш, – да на мой вкус лучше паюсная, посолонее будет. Ее прямо в ястыках солят, потом подсушивают, потом только очищают. Да ты ешь, Данила!

– Будет и на нашей улице праздник, – пообещал Семейка. – Будем и мы зернистой икоркой баловаться. Вон Масленица скоро – уж договорюсь с сестрой, дам ей денег – напечет она нам блинов, накроет стол и со сметаной, и с маслом, и с икрой!

– До Масленицы еще жить да жить... – напомнил Тимофей и отставил пустой ковшик. – Ну, слава те Господи, напичал нас, грешных! Данила, как твоя девка-то?

– Никто за парнишкой не приходил. Она и вдругорядь была, перед тем, как стемнело.

– А у вас, светлы? – спросил Семейка.

– У нас подозрение есть, что коли грамота и впрямь в печатне, то ее ночью попытаются вынести.

– Покараулить, выходит, надобно? – понял Семейка. – Ин ладно. Что, не пойти ли вздремнуть?

Тоже дело было обычное – раз конюх в неположенное время спать завалился, стало быть, ночью отворится известная калиточка у Боровицких ворот и поскачет гонец, и понесется, едва ли не на всем скаку тыча в нос подорожную воротным сторожам. А подорожная-то из Приказа тайных дел...

– А можно! – согласился Богдаш. – Айда на сеновал! Тулупами укроемся, а дед разбудит.

И он разбудил к указанному сроку со всей ответственностью старика, которому еще охота пригодиться в важном деле молодым.

Зная, что при нужде Башмаков выручит, конюхи не пешком пошли, а оседлали бахматов. Мало ли – вдруг погоня? Даниле в виде особой милости позволили взять не Голована, а конька посмирнее, не такого каверзного.

Выехав калиткой и обогнув прямо по льду Неглинки притихший Кремль, конюхи оказались возле Охотного ряда. Там уж до печатни было рукой подать.

И точно! Прохаживались стрельцы по Никольской! Отходили и приходили! Да не один караул – видать, Земский приказ немалый переполох устроил: конюхи, с другой стороны заехав, и других стрельцов увидели. Отродясь печатню так не стерегли, как в эту ночь.

– Дураком последним надо быть, чтобы попытаться оттуда хоть соломинку вынести, – заметил Тимофей.

– Стрельцы вторую только ночь тут торчат, – сказал Богдаш. – Не надоело им еще, видно, усердие являть, и Арсений это понимает. А вот на четвертую ночку, коли стрельцы будут те же самые, с ними какая-нибудь добрая душа разговор заведет, горячего сбитенька предложит.

– Не получилось, видать, у приказных с выемкой-то, – Семейка усмехнулся.

– Так нам же лучше! Кабы сейчас мы стрельцов тут не увидели – стало быть, грамота уж в Земском приказе! И что бы мы Башмакову сказали?

Уговорились так – Данила с Тимофеем поехали обратно, дремать при оседланных бахматах, а Желвак с Семейкой остались караулить с тем, чтобы отдохнувшие конюхи их часа через два сменили.

Но ни в ту ночь, ни в следующую ничего не случилось.

* * *

– Ниточка, Гаврила Михайлович! Ниточка!

Деревнин уж не знал, как быть со взбесившимся ярыжкой. Препровожденный к нему Стенька только одно и повторял:

– Нашлась-таки! Слава те Господи – ниточка!

Наконец подьячий взял Стеньку за плечи и принялся трясти, приговаривая:

– Какая тебе еще ниточка, блядин сын? В швецы ты, что ли, подался?!?

– Ниточка, Гаврила Михайлович! – повторил счастливый, словно новобрачный, Стенька. – Семен-то Алексеевич – орел! Он что догадался? Он догадался в бумагах посмотреть, кто от Печатного двора жалованье получает!

– И на кого он в бумагах напал?

– Справщиков-то в Кремле нанимают! Успенского собора ключаря Ивана, попа Михаила, ты его знаешь, ему в прошлом году пропавшую шубу нашли! Ниточка между Верхом и печатней, Гаврила Михайлович! Вот кто мог грамоту-то вынести и передать!

– Да погоди ты радоваться! – одернул Стеньку Деревнин. – На одном-то конце ниточки – еретик Грек, а на другом-то конце? Ты об этом подумал? Кто книжицу-то в печатню посылал?

Тут Стенька и увял...

– Стало быть, не будут справщиков пытать-то? – с унынием спросил он. – Кабы какого ненужного имени не назвали?

– Коли эта грамота и впрямь затаенного письма склад, хотя я сколько служу – не упомяну, чтобы на Москве по дереву писали, то никого, Степа, хватать и пытать не будут, а согладатаев приставят. Так что угомонись, Степа, дельце еще только начинает раскручиваться.

Стенька вздохнул.

Больше ему нечего было доложить Деревнину, который, от греха подальше, исправно строил из себя хворого и в приказе не появлялся. И он отправился туда, где ему сейчас и полагалось быть, – на торг.

Было у него одно дельце – обещал Наталье, что будет ей к Масленице новая сковорода. Подружке ее, Домне Патрикеевой, муж-стрелец купил медную сковородку в пять алтын, так и этой вынь да полож! Без этой сковородки уже и жизнь не мила!

Помянув Домну, которая вечно научит Наталью всяким пакостям, Стенька пошел смотреть сковородку, надеясь сторговать подешевле. Но перед Масленицей это был ходовой товар, ни один сиделец не уступал.

Ярыжка, не желавший тратить на бабьи причуды лишних денег, поплелся прочь. Вдруг его цапнула за плечо крепкая рука и развернула рожей в другую сторону.

Перед Стенькой стоял, ухмыляясь во весь рот, крепкий мужик, до того щекастый и румяный, что сквозь бороду видно было. И так уж он счастливо ухмылялся, что и глаза сделались едва заметными щелочками.

– Ты кто таков? – удивился Стенька.

– Не признал, что ли? Ивашка я!

– Полна Москва Ивашек.

– Ивашка Шепоткин же! И впрямь не признал! – Мужик был так этим озадачен, как ежели бы и впрямь был единственным Иваном на всю Москву, которого каждая подзаборная шавка знает. – Да ты припомни – на торгу встретились!

Для человека, который ежедневно на торгу видит под несколько сот Ивашек, это было плохой зацепкой, и Стенька выразительно пожал плечами.

– Ты меня от смертоубийства спас!

– Тебя?!?

– Кабы не ты, я бы его, блядина сына, зашиб, убил, грех на душу взял!

– Постой! Это ты, что ли, женку свою кому-то там за пятнадцать рублей заложил? – начал припоминать Стенька.

– Ну, я! Так кабы не ты, я бы его убил, порешил и на плаху за него, подлеца, пошел!

Тут и Стенька невольно улыбнулся. Он вспомнил ту драку, неторопливое побоище двух дородных, а в тулупах – еще и безмерно грузных мужиков. Однако раз этому Ивашке Шепоткину угодно полагать, будто Стенька его от неприятности избавил, – пусть полагает! Земский ярыжка, что греха таить, любил заводить среди торгового люда таких знакомцев, чтобы чем-то ему были обязаны. Идешь вот так без гроша за душой – и всегда найдется благодарный человек, угостит, а коли сам не догадается, так ведь и напомнить можно.

– И пошел бы! – весело подтвердил Стенька. – А что, с женкой-то своей помирился? Не прибил ее?

– А что ее, дуру, бить? Как ей велено, так и поступила. Пойдем, добрый человек, прости, не знаю, как звать-величать!

– А Степаном Ивановичем! – сразу определил себе немалую цену Стенька. – Неужто угостить хочешь?

– Кум у меня сбитенщик, такого сбитня нальет – до пяток продерет! Он перцу с имбирем не жалеет!

Стенька, решив, что его отсутствие на общем предпраздничном переполохе не больно скажется, зашагал следом за Ивашкой Шепоткиным. Ивашка, грудью прокладывая дорогу сквозь толпу, поддерживал беседу, то и дело поворачивая крупную башку к земскому ярыжке. И в конце концов ему такое вежество вышло боком.

Извозчик, усаживая седока в саночки, не заметил колдобины. Конек взял с места резво, санки опасно накренились, седок заорал, вываливаясь, но не вывалился, а откинулся в другую сторону. Санки, покотившие было на одном полозе, дернулись и рухнули на другой. Получилось это очень неудачно – как раз по Ивашкиной ноге.

Мужик, шлепнувшись на гузно, взвыл белугой и заругался так, что мудрый извозчик сразу хлестнул конька кнутом. Санки унеслись, а Стенька остался с ревушим Ивашкой в полном бессилии. Как земский ярыжка он мог бы кинуться следом, позвать на помощь – возможно, извозчика бы и остановили. А что с того проку? Починит он Ивашке ногу, что ли?

– Встать можешь? – спросил Стенька.

Ивашка попробовал, но, видать, полозом ему сломало одну из тех мелких косточек, каких в ступне до черта.

Оставить его в таком положении Стенька не мог. Он высмотрел извозчика, крикнул ему и рукой помахал – сюда, мол! Санки подкатили.

– Пособи-ка! – велел Стенька, показывая на сидящего в снегу Ивашку.

Извозчик посмотрел на земского ярыжку с подозрением.

– Знаю я вас! – сказал он. – Так и норовите!

– Что норовим?

– Коли для Земского приказа – чтоб безденежно! Нет уж, другого дурака ищи!

– Сам дурак! – отвечал Стенька. – Что, Иванушка, будут у тебя две деньги, с этим обалдуем расплатиться?

– Да уж будут! – подтвердил Шепоткин.

– Куда везти-то?

– А на Волхонку! – Ивашка тихо взвыл, когда Стенька с ямщиком подняли его, чтобы усадить в санки.

Обогнув Кремль, санки быстро доставили седоков к нужному месту.

– Вон туда, туда! – распорядился Ивашка. – Да тут разворачивай!

Санки встали.

– Степан Иванович, сделай милость, добеги до моего двора! – попросил Ивашка. – Парня там найдешь, Нечая. Пусть он скоренько выйдет да меня в дом занесет! Чего тебе-то корячиться! Я молодец дородный!

Стенька понял – Ивашке Шепоткину вовсе не хочется переплачивать извозчику полушку за услугу. И одобрил – каждому полушку, так самому-то что останется?

Очевидно, чтобы никто из бывших владельцев Марфицы, ни торговый человек из Суздали Никишка Ревякин, ни оставшийся для Земского приказа безликим и безмянным Пасынок, не могли до нее вновь добраться, Шепоткин завел большого лохматого черного кобеля. Войдя в калитку и бывши немилосердно облаяв, Стенька заорал что было духу, вызывая хозяйку. Но откликнулся мужской басовитый голос. Стенька развеселился было – опять Ивашке не повезло! – но тут из-за угла вышел с топором в руке человек росту невиданного и с безбородым круглым лицом, как у красной девицы. С лица-то ему было – хорошо, коли восемнадцать. А когда судить по плечицам – мужичище в сочной поре, да и топор в его лапище казался игрушечным.

– Чего орешь? – осведомился этот человек.

Тут Стенька сообразил – да это же и есть парень, Нечай, которого велено позвать на помощь!

– Хозяина из саней взять нужно, принести в дом, – сказал он. – Ногу ему полозом повредило.

– погоди, топор положу. И что у вас на Москве за топоры! Тихо ты, Арапка! Нишкни!

Нечай показал псу кулак, хороший кулак, нешуточный, и пошел за угол – вбить в колоду топор. Вернулся он пасмурный.

– И что у вас на Москве за колоды...

«Развалил!..» – с ужасом подумал Стенька. И этого вполне от Нечая можно было ожидать. Хотя располовинить колоду для рубки дров было немалым подвигом.

Нечай пошел к калитке. Тут только Стенька заметил, что был он в одном расстегнутом зипуне поверх холщовой простой рубахи да в полосатых портах и лаптях. Насчет обуви Стенька злорадно усмехнулся – как ты, парнище, ни здоров, а ходить тебе в лапотках, потому что сапог такой удивительной величины по всей Москве не сыщешь! Заказывать же сапожнику – удовольствие не дешевое, а ты, брат, вряд ли больно денежен.

– Да скорее ж! Поспешай, свет! – распорядился Ивашка Шепоткин, позволяя Нечая взять себя в охапку. – Не ровен час, увидят!

Стенька подивился тому, что Шепоткин стыдится перед соседями за увечье. Но прочь не пошел – коли было обещано угощение, так слово держать надобно!

Когда Нечай вносил Ивашку, Стенька придержал калитку и опять подивился: здоровый мужик, да еще в огромной, колом стоящей шубе, был на руках у этого верзилы не то чтобы совсем как дитя, а скорее как подросток.

– Забеги вперед, – велел Стеньке Нечай, – двери в сени распахни и другие тоже.

Вежества в парне было – ну, ни на медный грош!

Но Стенька сделал, как велено. Ему стало любопытно – что же это за орясина такая невоспитанная, откуда взялась? В лесу родилась, пням молилась?...

– Ахти мне! – переполошилась, увидев чужого, маленькая кругленькая Марфица, хлопотавшая по хозяйству в одной подпоясанной рубахе и в распахнутой душегрее. – Господи Иисусе! А ну, пошел вон! Нечай! Нечаюшка!

– Тут я! – отвечал парнище.

– Не галди! – добавил, въезжая в горницу на богатырских руках, Ивашка Шепоткин. – Одевайся-ка да за бабкой беги, ногу мне править!

Его усадили на лавку. Марфица кинулась разувать мужа. И точно – пострадавшая нога посинела и припухла.

– Да пойдешь ты за бабкой?! – рявкнул Ивашка.

Марфица бросилась за крашенинную занавеску – накинуть хоть сарафан, чтобы не надевать шубку прямо поверх рубахи.

– Вот, Степан Иванович, так и живу, – горестно сказал Ивашка. – С бабой бестолковой! Другая бы босиком по снегу ради мужа побежала...

– Племянник, что ли? – мотнув головой в сторону Нечая, осведомился Стенька. Предположить, что Шепоткин породил такого молодца, он никак не мог.

– Какое там – племянник! – Ивашка запнулся, словно бы брякнул лишнего. – Поди, Нечаюшко, мы тут о деле говорить будем. Дров-то наколот?

– Малость осталось.

– Ну, поди, Господь с тобой.

Парнище, пригибаясь, вышел.

– Здорова у тебя родня! – одобрил Стенька.

– Седьмая вода на киселе, – пренебрежительно отозвался Ивашка. – Ты садись на другую лавку, подожди. Бабка-костоправка у нас по соседству живет, сейчас ее Марфица приведет... Ты там скоро? А то гляди мне!

– Ахти мне! – отвечал голосок из-за крашенинной занавески. – За угол подолом-то зацепила, шов разошелся!

– Да кто твой сарафан под шубой-то увидит, дура?! – возмутился Ивашка.

– А что? – Стенька встал с лавки, на которой сидел, не раздеваясь и лишь шапку сняв. – Дай-ка я до бабки добегу. И сам ее сюда доставлю! А ты, голубушка, пока лоскутов холщовых достань, длинных, они бабке пригодятся – ногу замотать. Куда бежать-то?

– Лоскутья-то у тебя, у дурищи, есть?! – зарычал Ивашка.

– А бабка Козлиха на нашей улице и живет, от нас второй домишко! – объяснила Марфица.

– В которую сторону?

– Как к церковке идти!

– Да там с обеих сторон храмы Божии! – вмешался Ивашка.

Не дожидаясь супружеской разборки, Стенька выскочил за дверь.

Природная любознательность не впервые тихонько подсказывала ему: Степан Иванович, обрати внимание! Вроде и слов никаких загадочных не было, и взглядов многосмысленных, однако есть нечто странное в отношении Ивашки Шепоткина к этому парню Нечая. На бабу он орать горазд. Надо полагать, и седьмая вода на киселе, нищий родственничек, должен был

от него немало гнилых словес услышать. А Ивашка с этой здоровенной орясиной лучше, чем с родным сыном, обращается... Опять же, чего проще – Нечай за бабкой послать?

И что бы это значило?

Стенька поспешил через двор, опасливо поглядывая на кобеля Арапа. Но не Арап, а Нечай заступил ему дорогу.

– Чего тебе, свет? – спросил Стенька.

– Просьбишка у меня.

– Ну, говори!

– Возьми меня с собой! – выпалил Нечай.

– Куда, к бабке Козлихе, что ли?

– К бабке?...

Парень имел такой разочарованный вид – Стеньке поневоле сделалось его жалко.

– Ну, я вместо Марфицы за бабкой сбегая, – объяснил ярыжка. – А ты что – сам за ворота выйти боишься?

– Да дядька Иван не велит!

– Чего ж это он не велит? Укредут тебя, что ли, за воротами?

– Не велит, да и все тут! Говорит – ты человек лесной, ты в городе потеряешься! Ищи тебя потом! И злые люди, говорит, вокруг пальца обведут! Весной только, говорит, найдем тебя, когда сугробы стают!

– А на что ты злым людям сдался? – разумно спросил Стенька. – Шуба на тебе не соболиная, вообще никакой, денег тоже, поди, и алтына не имеешь. Какой им с тебя барыш?

– Да и не дамся я им! – со всем возмущением восемнадцатилетнего плечистого верзилы добавил Нечай. – А вот потеряться – это дядька Иван прав! Как меня сюда везли, то и дело поворачивали. А улицы-то все одинаковые! А на торгу, сказывали, целая площадь полным-полна людей! Человек сто, не меньше! Вот где потеряться можно!

– Пошли! – решительно сказал Стенька. – Пока до бабки Козлихи добежим, ты и расскажешь, откуда такой взялся. Сто человек! Да там двадцать раз по сто! А то и поболее!

– Откуда же их столько набралось? – спросил потрясенный Нечай.

– Москва же!

– Ого!

– Сам-то ты откуда?

– А из Бунькова! – гордо отвечал парень. – Неужто ты Бунькова не знаешь?

И всем видом показал изумление.

Они как раз вышли в калитку, и Стенька быстрым шагом припустил в сторону церкви. Нечай шел рядом, вроде и не торопясь, однако длинные ноги позволяли ему идти вровень со спешащим Стенькой без малейшей суеты.

– Город это, что ли? – спросил Стенька.

– Вроде города... – не совсем уверенно молвил Нечай.

– И где же твое Буньково?

– А за Ивановкой.

– Еще того не легче!

Стенька кинулся наперерез первой же тетке.

– Слышь, где тут бабка Козлиха проживает?

– А вон, молодец!

– Бог в помощь! – запоздало приветствовал тетку Стенька и повернул к калитке в почерневшем заборе.

– Ты и Ивановки не знаешь?

– погоди ты! – прикрикнул на парня Стенька. – Дай бабку сыскать! Потом про города с деревнями рассуждать будем!

Бабка Козлиха первым делом принялась выпрашивать Стеньку – тяжелы ли были сани, громко ли выл Ивашка Шепоткин, и выл ли, лежа потом в санях в неподвижности. При этом она увязывала в холстину травы с корешками, которые снимала со стены.

Стенька с Нечаем, который непонятно как и поместился в бабкиной избушке, молча и дружно поворачивали головы – с такой скоростью металась взад-вперед старенькая, скрюченная, но безмерно разговорчивая и шустрая бабка.

– Ну, ступайте! – прикрикнула она. – Не оставлять же вас в избе!

Вышли на двор, и тут бабка понеслась вперед. Кабы не черный плат, то была бы она, маленькая и стремительная, как мальчишка, выпущенный поиграть в снегу.

– Не знаешь, стало быть, Ивановки, – огорченно сказал Нечай. – А от нее до Касимова, сказывали, верст пять всего.

– Вот оно что, касимовский ты! – Об этом Стеньке следовало и самому догадаться.

Нечай при всем своем пригожестве, при светлых кудрях и румяных щеках, глаза имел раскосые и скулы высокие. В тех краях немало служилых татар проживало – должно быть, кто-то Нечаевой бабке и пособил...

– Буньковский.

– Как же ты в Москву-то из такой дали заехал?

– А купец Рудаков привез.

– И зачем же ты тому купцу на Москве понадобился?

– Кабы я знал! – воскликнул Нечай. – Купец сказывал – на Москве житье привольное, каждый день калачи и пряники едят, можно в Кремль пойти и самого царя увидеть!

– Выходит, он тебя царя смотреть повез? – Стенька поглядел снизу вверх, пытаясь по лицу собеседника понять, не шутит ли тот.

Но Нечай не шутил. Он искренне был огорчен, что из такой дали завезли в столицу да и держат взаперти.

– А к дядьке Ивану ты как попал? – заехал с другого конца Стенька.

– Так мы ж все вместе ехали!

Стенька вспомнил – и точно, Ивашка в приказе вопил, что куда-то ездил на полгода, почему и заложил женку Марфицу за пятнадцать рублей.

– Купец, стало быть, тебя сманил, а у дядьки Ивана ты поселился?

– Да они сговорились, чтобы я тут жил! Купец-то за меня кормовые деньги дядьке Ивану дал, по две деньги на день.

– А чем это ты ему так полюбился, что он за тебя кормовые деньги вносил? – Чем дальше, тем более странным казался Стеньке Нечаев приезд в Москву...

– А за жернова!

– Какие жернова?

Они уже почти подошли к шепоткинским воротам. Чтобы услышать поболее, Стенька удержал верзилу у калитки.

– А то ты не знаешь! Наши касимовские жернова всюду славятся! Как зима, так к нам за жерновами и едут! Которые купцы красную юфть возами берут, которые – сукно. Я одного видел – сита с решетами вез, и ничего больше! Разве это товар! Его и девка погрузит! А вот жернова грузить – это такое дело!

– Так ты что, жернова там у себя, в Бунькове, тесал? – Стенька окончательно перестал понимать, кто таков Нечай и за каким чертом привезен на Москву.

– Нет, в лес с охотниками хаживал. У нас леса знатные! Уйдешь, бывало, с мужиками на седмицу, идешь, идешь, конца-края нет...

– А купца Рудакова в лесу повстречал! Он на зиму в берлогу спать залег, лапу сосать, а ты его и поднял!

Нечай уставился на Стеньку в недоумении – видать, шутки в Бунькове были не в ходу.

– У него сани сломались, – несколько обиженно сообщил парень. – Бунькова не доехал, сани и не выдержали. Жернова-то весят! Он у нас новые купил, а я жернова перегружал. Он мне и говорит, чего тебе тут гнить, поехали со мной! Я и согласился.

– Так ты, выходит, беглый! – догадался Стенька.

Теперь он осознал, почему парня так старательно прячут. Детина приметный, с Ивановскую колокольню ростом будет... хотя... Кто из того замшелого Бунькова в Москву поплетется беглого искать?

– Так все ж бегут! – воскликнул Нечай.

Стенька только вздохнул.

Нечай был из тех, кого зовут – простая душа. Его и впрямь выпускать со двора было опасно.

– По-разному бегут-то, – заметил Стенька. – Ну, брат Нечай, там теперь не до меня. Коли хозяин ногу сломал, бабка с той ногой долго возиться станет.

– Так ты уходишь, что ли? – огорчился детинушка.

– Да не век же мне тут вековать! Я человек служилый.

– Эх!..

Столько скорби было в этом кратком слове, что Стеньку поневоле жалость проняла.

– Да не тоскуй ты! Обживешься – и в Кремль сходишь, и всюду!

– Да-а, всюду! Вон дядька Иван охромел – кто меня поведет? А обещали-то, обещали! И в Кремль, и в Успенский собор на царя посмотреть, и в бани, где дородные девки, и Охотный ряд показать, и боевые часы на башне, и Евангелие на престольное в два пуда, и конные бега, и деревянную грамоту, и как на Лобном месте дьяки царев суд возвещают...

Парень перечислял все соблазны, не замечая, что у собеседника глаза явственно лезут на лоб.

– Вот, стало быть, чем тебя сманили... – осторожно, осторожнее некуда, чтобы не спугнуть, молвил Стенька. – Ну, в Успенский собор – это понятно, и царя посмотреть, и Богу помолиться. В баню... А что, у вас своих нет?

– Да мы-то в печах моемся. В вытопленную печь свежей соломки настелят и залезают мыться.

– А в Охотном ряду чего покупать собрался?

– Да хоть поглядеть-то!

Стенька собирался понемногу добраться и до главного, но тут старушечий голос принялся звать Нечая.

– Молоде-ец! Поди сюда-а! Хозяин зовет!

– Ахти мне! Проведает еще, что я за калитку выходил! – забеспокоился Нечай, и стало ясно, что при своем богатырском росте он еще – дитя малое, неразумное.

– Ты беги, беги! – велел Стенька. – А я вдругорядь приду! С дядькой Иваном уговорюсь и сам тебя всюду отведу!

– Не обманешь? – Нечай от радости так ухватил благодетеля за плечо, что Стенька чуть не взвыл, железные пальцы парня и сквозь тулуп, пожалуй, чуть ли не до кости впились.

– Вот те крест! – Стенька радостно перекрестился.

Надо же – вот где на сей раз вынырнула деревянная грамота!

Поскольку дело пахивало изменой, он решил прежде всего посоветаться с Деревниным. Но сразу же бежать к страдальцу домой он не мог – и так уже достаточно долго пропадал незнамо где, а его место сегодня было – торг на Красной площади.

Ближе к вечеру, разняв две драки, поймав за ворот вороватую бабу и еще немало добрых дел совершив, Стенька направился к Деревнину.

Он шел через торг, уже предвкушая, как расскажет о странных словах Нечая, как поразится Гаврила Михайлович, как они вместе будут обсуждать дальнейший розыск, как они при-

думают ловушку для Ивашки Шепоткина и купца Рудакова, что неопытных деревенских детей деревянными грамотами прельщают. И как увяжут все это вместе с тем розыском, который, никому не сказавшись, затеяли около печатни...

Деревнин, узнав про Нечая, прямо встрепенулся.

– Так я ж толковал – еретическое писание! – воскликнул он. – Башмакову невесть что мерещится, а мы и струсили! Видать, еще какой-то старец на Москве объявился, на новый лад веру переиначивает!

Воспрял духом Деревнин! В приказ наутро засобирался! Грамотку написал Протасьеву – что-де надо взять за приставы Ивашку Шепоткина и живущего у него Нечая, как по прозванию – неведомо. Стенька понесся с грамоткой и добился, что сам пойдет с приставами брать того Ивашку с Нечаем. Как всегда, когда предстояло куда-то бежать, кого-то хватать, действовать решительно и отчаянно, он разгорелся – глаза выпучил, волосы сами дыбом поднялись, голос сделался звонкий, отрывистый. Боец, да и только!

Примчавшись домой, он обнаружил спящую жену и ужин на столе. По зимнему времени темнело в такую рань, что невольно тянуло в сон сразу после заката. Стенька постоял, глядя на свою Наталью и улыбаясь. Подумал, а не подходящий ли день для супружеского дела. Обычно Наталья строго за этим следила, в ночь на среду и на пятницу к себе не подпускала, да еще прибавлялось множество предпраздничных ночей и четыре поста, и обо всем об этом предупреждал баб в слободской церкви отец Кондрат. А матушка Ненила всякий раз, когда приносили в январе или феврале крестить дитя, старательно высчитывала, не во грехе ли, в самый Великий пост, зачато. То же касалось майских и июньских детишек, а также апрельских и августовских.

Хотя следовало бы разбудить Наталью и посоветоваться с ней о важных делах, Стенька решил просто потихоньку лечь. Предстоял трудный день, и лучше встретить его в чистоте, может, оно и зачтется...

Ночью приморозило, а в такие ночи особенно сладко спится. Проснулись оттого, что печка остыла, а в затянутае пузырьке оконце явственно пробился свет.

Стенька ахнул и стал впопыхах собираться, правую ногу заматывая в онучу, а левую, босую, суя в сапог... Наталья только и успела сунуть ему за пазуху кусок круто посоленного хлеба.

В приказе уже все было готово к походу за Ивашкой Шепоткиным и Нечаем, а заодно и никому не ведомым купцом Рудаковым. Стенька единственный знал, где Шепоткин живет, поэтому ждали лишь его и покрыли гнилыми словами с головы до ног. Деревнин – и тот словечком припечатал.

Несколько обидевшись, Стенька поспешил выполнять задуманное. На сей раз покалеченных с ним не было, извозчика нанимать не стали – и пришлось идти к Шепоткину на Волхонку пешком, а поселился он там, где Волхонка уже звалась Пречистенкой и стояли недавно отстроенные белокаменные боярские и княжеские дома. Неподалеку стояли и Большие конюшни, которые по привычке все называли Чертольскими.

– Вот! – Стенька указал рукавицей.

Пристав Никон Светешников негромко стукнул кулаком в ворота. Залаял кобель.

– Отворяй! – грянул Никон.

Одно это он и умел – греметь страшным голосом, наводя ужас на посадский люд.

Кобель заливался, а из людей никто не подал голоса.

– Отворяй, не то ворота высадим!

– Хозяин у них ногой скорбен, – сказала, подойдя, статная женка. – Погодите, добрые люди, пес меня знает, я войду и хозяйку вызову.

– Дай Бог здоровья, голубушка, – проявил вежество Стенька.

И как было не проявить – такие длинные, без уголька черные брови да такие огненные глаза не всякий день на улице встретишь!

Голубушка повернулась к нему и посмотрела пристально.

– Всем хорош молодец, – сказала она загадочно. – Послушай меня, я баб знаю, не давай своей женишке воли!

– Да что ты такое плетешь! – под общий хохот воскликнул покрасневший Стенька.

– Ты думаешь, она в твоей воле ходит, а она себе иное в голову забрала! Ох, молодец, замесили на дрожжах – не удержишь на вожжах!

И с тем она проскользнула в калитку.

– Умом баба тронулась, – сказал другой пристав, Кузьма Глазынин. – Вот ходит такая, что-то там себе думает, а потом как начнет в церкви выкликать! И вчетвером ее оттудова не выведешь – лягается! Потом возят к старцам – отчитывать...

– С нами крестная сила! – произнес испуганный Никон, а Стенька подумал, что ему во время розыска для полного счастья только кликуш доставало.

– Заходите, я кобелю цепь укоротила! – позвала женка.

Стенька, оба пристава и стрелец Трофимка Баламошный вошли на двор и поднялись на крыльцо.

Увидав таких гостей, Ивашка, сидевший на скамье и евший калиновую кулагу с хлебом, чуть не обмер.

– Ах, вот ты как? – напустился он на Стеньку. – Мало вам было той полтины? Теперь еще и на суд потянете? Почуяли, что можно из меня денег вытянуть?!

Он подумал, что Земский приказ все же решил докопаться до правды о закладе жены Марфицы за пятнадцать рублей.

– Уймись! – прикрикнул Стенька, в то время как прочие трое крестились на образа. – Ты полтину уплатил, и на том дело закрыто. А пришли мы вот за чем – позови того парня, Нечая, что у тебя живет!

– Какого Нечая? – весьма правдоподобно удивился Ивашка.

– Какого? А такого, что вчера тебе дрова колол!

– Ах, его? Ну так он дрова поколол да и прочь со двора пошел.

– Ври, да не завирайся! – прикрикнул на хозяина Стенька. – Ведомо нам учинилось, что тот Нечай – беглый, и купец Рудаков его к тебе жить определил, и по две деньги на день кормовых давал. Вот и зови Нечая! Не ты, а он нам надобен!

Ивашка Шепоткин уставился на земского ярыжку с подлинным ужасом.

– А ты как проведаль?

– Запираться станешь – на дыбу пойдешь! С первой виски промолчишь – со второй заговоришь! – принялся стращать Стенька.

Он собирался было добавить про горящие веники, которыми кат гладит по ребрам несговорчивых, но тут из-за крашенинной занавески заголосила Марфица. Да как!

– Ахти мне, несчастной, горькой сиротинушке! Останусь я вдовой ненадобной, буду меж чужих дворов скитаться, голодная, холодная, раздетая, разутая!.. Ахти мне, смертушка моя пришла!

– Люди добрые! Безвинно на дыбу тащат! Злодеи оговорили! – возвысил голос и Ивашка.

Кузьма Глазынин зажал уши, Трофимка Баламошный присел и голову в плечи втянул.

– Молчи, дура! Не мешай государеву розыску! – прикрикнул на Марфицу Стенька, но она лишь пуще соловьем разливалась.

В это время странноватая женка, войдя из сеней, прошла к печке и зашла за занавеску. Там вдруг сделалось тихо. Ивашка тоже вдруг перестал блажить. Женка вышла и направилась к Стеньке.

– Ты, молодец, коли что надобно, меня спроси. Я тут многих знаю.

– Ты уж мне наговорила! – огрызнулся Стенька.

– Что увидела, то и сказала. А Нечая и точно увезли. Приезжали за ним на санях. Так что тебе его уже не тут искать надобно.

– А кто приезжал? – Стенька решил, что от женки будет больше толку, чем от заполошного семейства Шепоткиных.

– А кто привез, тот и увез.

– Купец Рудаков, что ли?

– Этого я знать не могу. А вот что скажу – никогда раньше тут этого человека не встречала. Иванушка! – Она повернулась к Ивашке. – Кто тебе этого подкидыша сосватал?

– Да купец Рудаков же!

– А кто он таков, откуда взялся?

– В дороге сошлись, как я из Касимова ехал, и он там был со своими возами...

– И сговорились, чтобы тот Нечай у тебя пожил? – осторожно вмешался Стенька. – Да ты не бойся, что беглого к себе пустил, это он пусть боится! Вольно ему парней сманивать!

– Ахти мне! – взвыл Ивашка, и таким же криком отозвалась Марфица.

Стенька замахал на Ивашку руками.

– Помолчал бы ты, Иванушка! А как того Рудакова звать-величать? – спросила женка.

– А звать его Перфилием, а по отчеству – не помню... – хмуро отвечал Ивашка. – Мне до него дела нет. Я за него не ответчик!

– А живет он где? Ты, Иванушка, добром скажи! – потребовала женка, да как! Брови сошлись, с лица она сделалась как те рыси, которых для государевой потехи выкармливали зверовщики Семеновского потешного двора.

– Да ведь он меня в гости не зазывал! Я даже не знаю, есть ли у него на Москве двор-то! Коли он парня своего мне подсунул!..

– А парня как звать? – не давая земскому ярыжке и слова молвить, продолжала вести розыск разумная женка. – Нечай – это по-домашнему. А крещен каким именем?

– А я откуда знаю! Меня на крестины не звали!

– Ты кому другому, Иванушка, а не мне огрызайся! – предупредила женка. – Вот уйду сейчас вовсе – кто твою скорбную ногу править станет? Меня бабка Козлиха потому и прислала, что я это могу, а у нее уже не так получается.

И повернулась к Стеньке.

– Ты, молодец, больше от него ничего и не выведаешь. Я его знаю – он всю дорогу от Касимова до Москвы пьян был. Его, как мертвое тело, везли. А про того купца Рудакова скажу – не стар, боек, шуба у него и точно дорожная – волчья, поди. Ростом невелик. И уж не знаю, показалось иль нет, а одно плечико у него выше другого. Шуба большая, поди разбери...

Женка приподняла левое плечо, задумалась, припоминая, приподняла правое...

– Вот так он и шел, чуть боком.

– Перфилий Рудаков, ростом невысок, не стар, правое плечо выше левого, шуба волчья, – повторил Стенька. – Может ты еще, голубушка, скажешь, какой сотни купец?

– Скажу, что из небогатых.

– Сани с конем, что ли, плоховатые?

– В конях не смыслю, а ты уж моему слову поверь.

– Та-ак... – Стенька повернулся к Ивашке. – Стало быть, по дороге с тем Перфилием Рудаковым знакомство свел?

– Да пили они вместе! – объяснила женка. – У него таких знакомцев – пол-Москвы!

– Погоди ты! Я ж розыск веду! Я! И когда тот Перфилий сманивал Нечая в Москву с ним ехать – ты при том был?

– Да разве я того Перфилия стерег? Сани у него сломались, Нечай перегружать помогал, это я помню. А потом гляжу – он уж с нами едет!

– И разговаривал ли при тебе тот Перфилий с тем Нечаем?

– А чего им разговаривать? Один – купец, другого до Москвы обозным мужиком взяли.
– А обещал ли при тебе тот Перфилий, что в Москве поведет того Нечая в Успенский собор, и в баню, и в Охотный ряд?

– Да на что тебе? – хором изумились Ивашка и женка-знахарка.

– Надобно! – таким путем Стенька издалика подъезжал к деревянной грамоте.

Но Ивашка намертво отперся – никаких соблазнов при нем Рудаков Нечая не рассказывал, ничем не прельщал.

Тогда Стенька в отчаянии решил сказать прямо.

– А не говорил ли при тебе тот Перфилий, что видывал-де некую деревянную книжицу, и не обещал ли тебе ее показать?

– Какую книжицу?

Ивашка поклялся, что отродясь про такие диковины даже от попа не слыхивал, а от Рудакова – тем более. Клятва была так горяча, что Стенька ей не поверил.

– Ну, собирайся! Возьмем тебя в приказ, отберем от тебя сказку про того Перфилия Рудакова! Ведь ты, сучий потрох, точно про него знаешь, кто таков и где проживает!

– Не знает он! – вступилась женка. – А возить взад-вперед по всей Москве не позволю! Я ему ногу правлю, весь мой труд насмарку пойдет!

– Больно ты грозна! – сказал на это Баламошный. – Ишь, приказывает! Да кто тебя слушать станет!

– Да ты и послушаешь! Я-то знаю, какую хворобу тебе с самого Рождества лечат, никак вылечить не могут! Гляди – такого сейчас скажу, что и вовсе с той хворобой сладу не будет!

– Да ну тебя! – Стрелец даже отступил на два шага, крестясь. – Да воскреснет Бог и да расточатся врази его!.. Пошли отсюда, Степа!

– Уйти нетрудно, а только понадобится нам этот Ивашка Шепоткин, придем мы за ним – а его-то и нет!

Ивашка стал клясться и божиться, что никуда не денется, Марфица вышла из-за занавески, припала к мужу и своих криков добавила.

Наконец Стенька потребовал от Ивашки крест целовать, что будет сидеть сиднем на Волхонке. Тот было заартачился, да женка, торопясь заняться своим лекарским делом, выступила на стороне правосудия.

С тем Стенька вместе с приставами да со стрельцом убрался восвояси.

И уж так гордо он вышагивал во главе своего отряда, грудь выкатив, чтобы заветные красные буквы всякий встречный видел и уступал дорогу государевым служилым людям, когда к Ивашке направлялся! А как от того треклятого Ивашки возвращались, так впереди-то Трофимка Баламошный выступал, Стенька понуро сзади плелся.

На душе у него было хмуро еще и вот почему.

В сенях его задержала чересчур много о себе возомнившая женка.

– Ты, молодец, за деревянной грамотой не гоняйся. Как она появилась ни с того ни с сего, так и исчезнет, и никто ее больше не увидит. И Земскому приказу до нее дела нет.

– А ты почем знаешь?

В сенях было темно, и прочитать по Стенькиной роже, какое у него вдруг возникло гнусное намерение, женка не могла. Однако ж как-то она все уразумела.

– Ты думаешь, коли меня сейчас допросить да дыбой припугнуть, то я тебе все про ту грамоту и выскажу? Не трать времени – пуганая! А коли упорствовать станешь – глаза тебе отведу да и уйду из Хамовников, Москва велика!

– Москва велика, а вот пойду на Варварский крестец, где все корневицы да ворожейки собираются, и живо мне расскажут, куда ты запропастилась! – щегольнув своим знанием жизни, отвечал Стенька.

– А не скажут! Побоятся рассердить Устинью Кореленку! – Она негромко рассмеялась. – Вот так меня и кличут – Кореленка! Запомни, молодец, может, когда и пригожусь! А теперь ступай, догоняй!

– Так что ж это за грамота?

– Не твоего ума дело. Она уже сколько-то людей погубила и еще не одного погубит, а потом и сама на долгие годы пропадет. Ступай, ступай! Те, кого она губит, сами своей погибели ищут!

С тем и вытолкала из сеней...

Шагая следом за приставами и стрельцом, Стенька обдумывал дальнейшие ходы. Теперь нужно было доложить подьячим, что Нечай пропал, а придется искать купца Перфилия Рудакова, который, судя по всему, и собирался показывать парню деревянную грамоту.

Навстречу ярыжке с приказного крыльца сбежал сослуживец, ярыжка Захар.

– Где тебя носит! – крикнул он. – Тут у нас такое делается! Меня за тобой посылали, так за тобой с собаками не утонишься!

– А что стряслось?

– Мертвое тело пропало!

– Какое еще тело?

– Да парнишка тот! Приходили какие-то два человека, смотрителя, Федотку, по башке треснули да и вынесли тело в рогожке! И поминай как звали!

* * *

– Данила! Выгляни-ка, свет!

– Тут по твою душу!

– Принарядись-ка!

– Личико умой!

– Кудерьки расчеши да пригладь!

Недоумевая, с чего бы товарищи его зовут так несуразно, Данила как был, со скребницей и щеткой, вышел из стойла, где наводил блеск на аргамака Байрамку. Хорош был Байрам, по-своему разговорчив – всяко умел показать, чего ему надобно. Данила уже мечтал, как он летом, когда многих аргамаков уведут туда, где будет угодно поселиться государю, выпросит у старших позволения хоть раз проездить этого красавца, испытать его резвость и понятливость!

– Да пригладь космы-то! – прикрикнул на него Тимофей, причем не шутя. – У тебя, поди, полная башка конской шерсти и всякой дряни! Гляди, на аркане в баню сволоку!

– Дьяк, что ли, ко мне пожаловал? – спросил Данила, положив щетку со скребницей на узкую лавочку и обеими грязными руками обжимая на голове свои легкие пушистые волосы, норовящие закурчавиться на висках.

Раздался дружный хохот.

– Какой там дьяк? Девка! Невеличка, белоличка, собой круглоличка!

Данила побежал по проходу, в одной рубаше выскочил из конюшни.

Снаружи его ждала Авдотьяца.

– Я все делала, как ты велел, – зашептала быстро. – Каждое утречко в ту проклятую избу бегала! Я свои денежки отработала!

Она приклонила голову к самому его уху.

– Забрали парнишечку-то!

– Кто забрал? Когда? – От такой новости Данила двумя руками вцепился девке в рукав шубы.

– Да сегодня утром же!

Парень посмотрел на небо – было близко к полудню.

– И ты только сейчас до меня добралась?!

– С тебя причитается, куманек. Я на извозчика протратилась да на службишке своей не показалась, придется там кому следует барашка в бумажке поднести.

– С какой такой радости? – Данила все еще был возмущен.

– А с такой, что я тех людей-то выследила!

– Каких еще людей?

– Которые парнишечку забрали!

Данила даже шарахнулся от Авдотьицы. А она стояла довольная, веселая, чающая немалой платы за такой подвиг.

– Сказывай! – на радостях не замечая морозца, потребовал Данила.

– А что сказывать-то? Я, как всегда, к смотрителю – мол, мой-то не появлялся? Он мне – да Бог с тобой, девка, что это тебе в голову взбрело раньше смерти его хоронить?! Жив твой, приютился где-то, может, сманили его, с купцами уехал, может, у товарища какого живет, много ли места парнишке надобно? Сама же, мол, говорила, что мать у него пьющая, вот он и сбежал...

– Ты мне про тех людей говори!

– А те люди тут и появились! Они ему не родные, родные реветь бы кинулись, крик бы подняли. А эти его оглядели, переглянулись, один другому и говорит: ну, точно – он! И перекрестились оба.

– Так что ж это был за парнишка?

– А ты слушай! Смотритель – к ним: забирать, что ли, будете? Так я, сказывает, знать должен, кто он таков и кто вы таковы. И в Земском приказе от вас сказку отберут – точно ли ваш парнишка. Тут они вдругорядь переглянулись. И говорят смотрителю – ну, пошли, что ли, в Земский приказ? И вышли...

– А ты?

– А я, не будь дура, тут же за ними и выскочила. Мне же еще извозчика нанять следовало! Побежала я к Никольской, их там много ездит, и с одним сговорила.

Тут Авдотьица замолчала.

– Дальше-то что? – не выдержал Данила.

– Поиздержалась я на извозчика-то, – сообщила она. – На Волхонку выехали, встал – деньгу ему плати! Заплатила, дальше едем. На Остоженку свернули, сколько-то проехали – встал! Опять деньгу плати!

– А чего тебя туда понесло?

– Так я же за парнишечкой следом ехала!

Тут только до Данилы дошло, что зазорная девка Авдотьица обставила, похоже, и Земский приказ, и конюхов, имеющих тайное поручение от дьяка Башмакова.

– Пока я с извозчиком сряжалась, они-то, те двое, в избу вернулись, завернули парнишечку в рогожу да и вынесли скорехонько. А сани их неподалеку ждали. Они и покатили, я – следом.

– Так куда ж они прикатили? – заорал Данила.

– Так я ж тебе толкую – на извозчика поиздержалась!

В девкиных глазах было такое лукавство с нахальством пополам – Данила дара речи лишился.

– Ты что же, думаешь, я лошадей чистить иду – кошель с собой беру? – спросил он. – Вернутся к тебе твои денежки! Подожди тут!

Он вошел в конюшенное строение и принялся звать Тимофея.

Тот отозвался не сразу – опять возился со слюдой. Данила пошел на голос.

– Авдотьица-то выследила, куда парнишку мертвого увезли, – сказал он товарищу. – И денег просит. Раньше-то я ей за каждый поход в избу платил. А теперь четырьмя деньгами не отделаюсь.

– Вот гривенник, – Тимофей полез за пазуху, достал кошель, где у него, завернутая отдельно, хранилась уже пущенная в размен башмаковская полтина. – Хватит ей, как полагаешь?

– Не хватит – добавлю.

– Ушлая девка! Так ты сейчас туда отправишься?

– А ты полагаешь, что один только Богдаш на верном пути стоит?

Желвак охаживал красивую женку по всем правилам – добивался тайного свидания. И она вроде была не прочь. Говорила даже, что есть на задворках печатни подходящее местечко, да слишком много шуму поднято из-за неведомых злодеев, всюду слоняются стрельцы и приказные. Богдаш осторожно выпрашивал – что за шум, имеет ли основание, и не Арсений ли Грек, еретик ведомый, тому виной. Женка сперва про Грека толковать не желала, видать, не по душе он ей пришелся, но при следующей встрече Богдаш ее улестил – сообщила, что еретик больше всех переполохом озабочен и странные речи ведет с работниками, вроде как хочет много о чем-то просить, да не решается.

Всякий раз, пересказывая бабы слова, Богдаш прибавлял – «по ее дурьему разумению», а Тимофей согласно кивал. И точно – дурой нужно быть, чтобы в такое смутное для Печатного двора время все тайны случайному молодцу выбалтывать...

– Семейку с собой возьми, – посоветовал Озорной. – Я тут за вас обоих потружусь.

Семейкины сборы были недолгими. Он подергал за свисавшую на голенище алую с зеленым кисточку засапожника, словно желая убедиться, что кривому ножу в сапоге удобно, и накинул на правую кисть петлю глухого кистеня. Рукав тулупа был такой длины, что позволял обходиться без рукавиц, а для руки, которой работать кистенем, это очень важное удобство.

– А ты свой подсадачник прихвати, – посоветовал.

Как только Данила разжился этим старым, широким, об одном лезвии, но с отточенным острием ножом, Семейка тут же и ножны смастерил такие, чтобы удобно к поясу подвешивать. Благо кожу на Аргамачьих конюшнях не покупать! От шорного дела немало обрезков остается.

Он помог приладить орудие и показал, где должна быть рукоять, чтобы не шарить ее под шубой до морковкина заговенья.

Авдотьица, смышленная девка, дожидалась их не за конюшенной оградой и даже не у выхода, а у самых Боровицких ворот. Понимала, что коли уж конюхи занимаются таким странным делом, как выслеживание мертвого тела, так не от собственной дурости, а по чьему-то тайному повелению. Опять же, хватало у нее ума, чтобы понять – люди, и бабы тоже, что оказывают услуги Приказу тайных дел, нищетой маяться не будут...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.